

журнал

ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА

литература о жизни

Учредители:
литературный клуб «Последняя среда»
издательство «Э.РА»
Фонд поддержки независимого книгоиздания

тема номера ПРОШЛОЕ

*Прошлое — это мертвые и те, кто о них помнит.
Без тех, кто помнит, нет прошлого.*

Редакционная коллегия:

Андрей Пустогаров — главный редактор

Михаил Ромм

Сергей Долгов

Илья Трофимов

пишите: **stogarov@pisem.net**

и вас обязательно прочтут

ISBN 978590569399-1



9 785905 693991

Оглавление:

Итоги года субъективные заметки главреда	5
---	---

АНТОЛОГИЯ

Свирепое имя родины

Владимир Луговской «Обыск сердца»	8
Николай Тихонов «Жизнь под звездами»	11
Николай Ушаков «Подробности времени»	13
Эдуард Багрицкий «Я никогда не любил как надо»	17
Павел Васильев «Русский азиат»	19
Сергей Марков «Прощание с язычеством»	23
Михаил Светлов «Парень, презирающий удобства»	27

Приложение

БОРИС ПАСТЕРНАК «В дыму подавленных желаний»	32
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ «Учить щебетать палачей»	36
АННА АХМАТОВА «Эта женщина одна»	39

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Андрей Пустогаров «ПОЧЕМУ ГИТЛЕР НАЧАЛ ВОЙНУ И ПОЧЕМУ РАСПАЛСЯ СССР? или процесс индустриализации как мотор современного мира»	41
--	----

АНТОЛОГИЯ

САШАТКА ЕГОРОВ	56
АЛЕКСАНДР КАРАМАЗОВ	65
Андрей Урицкий Александр Егоров. Попытка взгляда	70
Андрей Пустогаров Лобненская школа	73

НАШИ СОСЕДИ

Юрко Покальчук «Головокружительный запах джунглей»	76
--	----

РЕЦЕНЗИОННЫЙ ЗАЛ

Смеяться и любить	95
-------------------------	----

Приложение

Юрий НЕЧИПОРЕНКО «Благовещенск, Амур» 98

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Андрей Пустогаров Из цикла «Аппендицит»

Мозаика 102

Электрик 103

Память 103

Памятник Ленину 104

Свобода 106

AMARCORD

Игорь Клех «АКСИНИН КАК КУЛЬТУРНЫЙ ВРАГ» 108

Игорь Клех «МЕЖДУ ЭШЕРОМ И БОРХЕСОМ» 110

Сергей Летов «Поминальные заметки о Сергее Курёхине» 112

Приложение

О Новой Импровизационной музыке 117

О новом русском джазе 118

Андрей Пустогаров «Чекасин» 119

РАЗГОВОРЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Дан МАРКОВИЧ из сборника «КУКИСЫ» 120

Итоги года

субъективные заметки главреда

Истекший год прошел, как положено в колониальной стране: главным параметром для нас является цена нефти на лондонской бирже. До прочего нам, в общем-то, пока нет дела.

В остальном мире проблемы: Китай не работает с прежней интенсивностью, поэтому правящим кругам «цивилизованных стран» для сохранения уровня собственных доходов приходится сокращать потребление среди своих сограждан.

Главная задача мирового сообщества — не сказать об этом вслух.

Собственно, такая задача стоит уже давно — по крайней мере, лет двадцать. И действительно — пока из краника золотая струйка течет в твое ведро, лучше вести себя тихо, а окружающих занять рассказами о чем-то хорошем и интересном, наняв для этого специально отобранных людей.

Не дай Бог завести разговор о чем-то содержательном.

Показательное событие случилось в современной науке, хотя внимания к нему не привлекали: Большой адронный коллайдер закрылся до 2015 года. Я думаю, после открытия бозона Хиггса, которое позволило определить размер нашей Вселенной — она оказалась величиной с футбольный мяч — это весьма разумное решение.

Постепенно все спустят на тормозах. Хорошо бы заодно отправить в мусорный ящик и все прочие черные дыры, теории относительности, уравнения Максвелла, теорию гравитации Ньютона, вирусы СПИДа и т.п.

Есть надежда, что после этого смогла бы развиваться наука, которая сейчас занимается различными вариантами состыковки компьютера с мобильным телефоном.

Перейдем к культуре.

Существует ли сейчас кино?

Во всяком случае, есть братья Коэны, Вуди Аллен и Лео Каракас.

Если этого достаточно, то, значит, кино существует.

Существует ли сейчас музыка?

Я не встречал. Во всяком случае, в этом году.

Последняя среда

Что касается литературных событий, то я в истекшем году отметил целых три.

Первое: премию «Поэт» получил действительно значительный русский поэт Евгений Рейн.

Второе: российское издательство выпустило в переводе на русский роман Сергей Жадана «Ворошиловград».

Роман отмечен присутствием смысла, вещи, которая почти полностью отсутствует сейчас в русской литературе. (Смысл — это то, что нужно сейчас или будет нужно в будущем; не имеет смысла то, что было нужно когда-то. А без смысла текст разваливается с первой фразы). Жадан пробует найти социальный смысл, то есть пригодный не только для него одного. Смысл этот, извините за тавтологию, в осмысленной жизни в своей стране. За что, конечно, приходится бороться с теми, кто хочет все побыстрее из нее сплавить.

Третье: книга рассказов Юрия Нечипоренко «Смеяться и свистеть». О ней мы скажем ниже.

Ну, вот и все.

В ближайшее время лучше не будет.

АНТОЛОГИЯ

Мы публикуем фрагменты проекта

Свирепое имя родины антология поэтов сталинской поры

(В полном виде он выложен на интернет странице
<http://stihi.ru/avtor/ntologia>)

Владимир Луговской (1901–1957) «Обыск сердца»
Николай Тихонов (1896–1978) «Жизнь под звездами»
Николай Ушаков (1899–1973) «Подробности времени»
Эдуард Багрицкий (1895–1934) «Никогда не любил как надо»
Павел Васильев (1910–1937) «Русский азиат»
Сергей Марков (1906–1973) «Прощание с язычеством»
Михаил Светлов (1903–1964) «Парень, презирающий удобства»

Приложение

Борис Пастернак «В дыму подавленных желаний»
Осип Мандельштам «Учить щебетать палачей»
Анна Ахматова «Эта женщина одна»

Сталинская эпоха — основное содержание лучших стихотворений семи поэтов, собранных в этой антологии. Пыль, порох, трупный дух и запах кожаной португепи впитали поры этих стихов — поразительных, жестоких, некрофильских. Хочется назвать их эротичными, но не эрос, а танатос чувствовали поэты во всех своих поцелуях. Физически эпоха убила только одного из них — Павла Васильева в 37-ом (и в его 28). Пятерых она проволокла под своим льдом и выпустила наружу. После сталинских сумерек они, казалось, зажмурились даже в тусклые хрущевские и брежневские времена. Их «хищный глазомер» был сбит и не настроился снова. Но людоедская сталинская эпоха позволила им высказаться откровенно и без обиняков. Слишком откровенно даже для нее — стихи эти и в те годы, не говоря о нынешних, были не на виду. «За гремучую доблесть грядущих веков» согласились заплатить они воображаемой своей и реальной чужой смертью, но застыли в ужасе от воплощения мечты. Стихи их балансируют на грани трагического

катарсиса. Они — неотъемлемая часть русской поэзии, те ее корни, что «рылись в золоте и пепле».

В приложении стихи трех великих русских поэтов — современников сталинской эпохи. Они эту эпоху преодолели, заплатив каждый свою цену. Только они, преодолевшие, и могут ее судить.

Владимир ЛУГОВСКОЙ (1901–1957)

«Обыск сердца»

Родился в 1901-ом, чтобы достичь призывного возраста как раз к началу гражданской войны. Юноша из очень интеллигентной московской семьи поступает в университет и почти сразу отправляется служить в Полевой контроль Западного фронта — то есть в бывшую военную контрразведку. Затем — следователь Московского угрозыска, курсант Военно-педагогического института. Входит в литературную группу конструктивистов — после хаоса мировой и гражданской войн неудержимо влекла недвусмысленность механических конструкций:

*«Сознание становится обузой,
А счастьем — жилистый подъемный кран,
Легко несущий грузы».*

Но эпоха в очередной раз разворачивалась, как стрела крана: в 1930-м Луговской успевае загодя, до ликвидации в 32-ом всех литературных групп и ассоциаций и создания единого Союза Писателей, перейти в наиболее «правильный» РАПП. О своих бывших друзьях-конструктивистах напишет:

*«Вы пускали в ход перочинные ножи,
А нужен был штык, чтоб кончить прения».*

Подпись Луговского появляется под письмом с требованием «принять меры» к Павлу Васильеву. В 31-ом едет в Среднюю Азию «на ликвидацию басмачества», в 39-ом участвует в «освободительном» походе на Западную Украину и Западную Белоруссию. Его словно тянуло в «горячие точки». Возможно, он все время что-то хотел доказать себе, и права была Ахматова: «Луговской по своему душевному складу скорее мечтатель с горестной судьбой, а не воин».

В первые дни войны с Германией в очередной раз едет на фронт. Эшелон попадает под бомбежку, контуженный Луговской выбирается из вагона, затем из окружения и возвращается в Москву.

Последняя среда

Осенью 41-го с парализованной матерью уезжает в эвакуацию в Ташкент. Болезнь после контузии, тяжелая смерть матери, алкоголизм, любовная драма — в Ташкенте Луговской пишет лучшую свою поэму «Алайский рынок». С его «приступочки у двери» встали в свое время Рейн и Бродский.

После войны преподает в Литературном институте, опять ездит по стране. Неожиданно откровенно звучит строка из его предсмертной автобиографии: «До сих пор для меня пограничная застава — самый лучший, самый светлый уголок моей великой Родины».

Дорога

Дорога идет от широких мечей,
От сечи и плена Игорева,
От белых ночей, Малютиных палачей,
От этой тоски невыговоренной;
От белых поповен в поповском саду,
От смертного духа морозного,
От синих чертей, шевелящих в аду
Царя Иоанна Грозного;
От башен, запоров, и рвов, и кремлей,
От лика рублевской троицы.
И нет еще стран на зеленой земле,
Где мог бы я сыном пристроиться.
И глухо стучащее сердце мое
С рожденья в рабы ей продано.
Мне страшно назвать даже имя ее —
Свирепое имя родины.

1926

Опять идти. Куда?
Опять какой-то мол в тяжелом колыханье.
Сутулые бескровные суда
И плеск, и перехлест морской лохани.
Так странные проходят города,
Порты и пристани с курганами арбузов,
Амбары, элеваторы и маяки,

Последняя среда

Гречанки, взглядывающие из-под руки,
Домов рассыпанные бусы.
Жизнь переходит в голубой туман,
Сознание становится обузой,
А счастьем – жилистый подъемный кран,
Легко несущий грузы.

1926

Певец

У могилы Тимура, ночью,
сидели мы и курили,
Всеми порами тела
ощущая уход жары.
Плакали сычки,
хлопали мягкие крылья,
Как водяной ребенок,
во тьме лепетал арык.
Странник, никому не нужный,
тьень, отражение тени,
Поднимал к зеленому небу
зверячий голосок.
Деревянная сила усталости
скрипела в его коленях,
Между ступней и подошвой
потел путевой песок.
Века, положившие буквы
на камне и на бумаге,
От папиросных вспышек
отшатывались прочь.
Но глиняный мрак могилы
и медленный вой бродяги
Слитно пересекали
поистине мощную ночь.
Вот странник, привыкший рассказывать,
человек, владеющий песней,
Он ходит среди народа
и жалит, словно оса.
Сердце его покрыто
старой могильной плесенью,

Последняя среда

Которая в полночь рождает
винтовки и чудеса.
Тень, отражение тени,
ноет в бездумье хмуром,
Широкую рвань халата
раскачивая без конца.
Требуя справедливости
и помощи у Тимура,
Мясника позабытых народов,
хромононого мертвеца.
Большие старые звезды
сединай осыпали купол.
Месяц застыл в полете,
мир начинал светать.
Вой оборвался кашлем,
и ночь опустила скупо
Легкий ветер нагорий,
настоянный на цветах.
Тут ничего не поделаешь —
старик уже вызвал Бога.
Он движется толчками,
от ярости чумовой.
Он будет петь о восстаньях,
безжалостный и убогий.
Он где-нибудь попадетя,
и мы расстреляем его.

1929

Николай ТИХОНОВ (1896–1978)

ЖИЗНЬ ПОД ЗВЕЗДАМИ

Название первой книги Тихонова «Жизнь под звездами» *post factum* звучит, как невеселое пророчество. Хотя эти первые звезды — не кремлевские рубиновые (тех еще не было), а настоящие. У книги подзаголовок — «Из походной тетради»: в Первую мировую Тихонов служил в гусарском полку, гордился участием в кавалерийской атаке. Ранние книги «Орда» и «Брага» — продолжение традиции Киплинга–Гумилева на «революционном материале». В 20-е проявил себя и как талантливый прозаик. В тридцатые становится правильным советским писателем, издающим

Последняя среда

правильные стихотворения на правильные темы. Последний его взлет — стихи 34—37 годов о парижской любви. Не брезговал прямой лестью кремлевским вождям, но знал, что более ценится завуалированная, например, стихи о родине Сталина — Грузии. Несмотря на это считается, что от ареста его спасла финская война. Во время Второй мировой находился в блокадном Ленинграде. Потом получал все больше Сталинских премий, писал все понятнее и хуже. Перед смертью вернулся на круги своя — прочел по радио запрещенные в Советском Союзе стихи Гумилева.

Длинный путь. Он много крови выпил.
О, как мы любили горячо —
В виселиц качающемся скрипе
И у стен с отбитым кирпичом.

Этого мы не расскажем детям,
Вырастут и сами все поймут,
Спросят нас, но губы не ответят,
И глаза улыбки не найдут.

Показав им, как земля богата,
Кто-нибудь ответит им за нас:
«Дети мира, с вас не спросят платы,
Кровью все откуплено сполна».

1921

Саволакский егерь

На холме под луною он навзничь лег,
Шевелил волоса его ветер,
Ленинградский смотрел на него паренек,
Набирая махорку в кисете.

Не луна Оссиана светила на них,
И шюцкора значок на мундире
Говорил, что стоим мы у сосен живых
В мертвом финском полуночном мире.

Егерь был молодой и красивый лицом,
Синевою подернутым слабо,

Последняя среда

И луна наклонилась над мертвецом,
Как невеста из дальнего Або.

Паренек ленинградский закрутку свернул,
Не сказал ни единого слова,
Лишь огонь зажигалки над мертвым сверкнул,
Точно пулей пробил его снова.

1940

Никаких не желаю иллюзий взамен,
Будто ночь и полуночный час,
И один прохожу я по улице Ренн
На пустынный бульвар Монпарнас.

Под ногами кирпичный и каменный лом,
Спотыкаясь, блуждаю я здесь,
И на небе, что залито черным стеклом,
Ничего не могу я прочесть.

«То ошибка! — я ночи кричу. — Ведь она
Не в Помпее жила, это ложь,
Так зачем этот мрак, не имеющий дна,
Этот каменный, пепельный дождь.

О, не дай же ей, ночь, погибать ни за что,
Разомкнись и ее пожалей,
Беспощадной, светящейся лавы поток
С пикардийских вулканных полей».

(1937–1940)

Николай УШАКОВ (1899–1973)

«ПОДРОБНОСТИ ВРЕМЕНИ»

Самый некровожадный из поэтов этой книги.

Выпускник Первой гимназии города Киева.

В Киеве с 1917 по 1920 год пережил восемнадцать кровавых смен власти. Потом голод 20–21-го годов. Уставший от смертей, глаз Ушакова остановился на «второй природе» — подробностях индустриального мира, который мог бы навеять покой, как некогда булгаковская

Последняя среда

«лампа под зеленым абажуром», «Адмирал землечерпалок», «Горячий цех», «Университетская весна» должны были прийти на смену «Перенесению тела...», «Войне» и «Дезертиру» — Ушакову хотелось как-то обжить свою неуютную эпоху. Но получалось плохо: простой счетовод уходил из дому, чтобы не вернуться — «и уже заходят управдомы сургучами комнату пятнать», цинковый гроб поэта грузили на поезд — «пылен и пуст товарный вагон», летний отпуск прерывало начало войны.

Другая тема Ушакова — «маленький» человек среди войн и революций. Беженец или солдат — по обе (чаще по ту) стороны фронта.

Все равно смерть оказалась самой массовой подробностью нового времени.

...Он дожил до поры, когда за хорошие стихи перестали убивать. Но сам уже не поверил в это...

ТРИ ЗИМЫ

1

Трубит пурга
в серебряный рожок,
как стрелочник на запасных путях.
И, холодом лазурным
обожен,
в перекасти-снегах
трещит будяк.

И, может быть,
в сухое серебро,
на самый край
чешуйчатой земли,
угрюмые налетчики Шкуро
хорунжего
на бурке
унесли.

И что им делать в воздухе таком:
ломать щиты в высоких штабелях,
на паровоз идти за кипятком
или плясать
с метелью «шамиля»?

Последняя среда

Зевает лошадь,
вытянув губу,
дымит деревня,
к ночи заалев.

С свечой в руке
лежит джигит в гробу.
Хозяйка
вынимает
теплый хлеб.

1929

Дезертир

Познав дурных предчувствий мир,
в вокзальных комнатах угарных
транзитный трется дезертир
и ждет облавы и товарных.

И с сундучка глазком седым
на конных смотрит он матросов
и, вдруг устав,
сдается им
и глухо просит
папиросу.

И зазвенел за ним замок.
И с арестованными вместе
он хлещет синий кипяток
из чайников
тончайшей жести.
Пайковый хлеб
лежит в дыму,
свинцовые
пылают блюда, —
он сыт,
и вот велят ему
фуфайку снять
и скинуть бутсы.

Свистят пустые поезда,
на полках —

Последняя среда

тощая бригада.
Над мертвецом висит звезда,
и ничего звезде не надо.

1929

Беженцы

На пашне
и в кустах смородины,
уже предчувствуя неладное,
они собирали
пепел родины
и на груди
хранили ладанки.

И, завтрак при лампадке комкая,
глазел прожектор неприятеля.
Они бледнели над котомками
и лошадей в оглобли пятили.

Теснились,
и неслись,
и падали.

И ночь текла,
как бы слепая,
над миром
фур,
канав и падали,
косые звезды рассыпая.

И ночь пальбой над полем охала,
горя серебряным и розовым.
Они по рельсам шли
и около
за угнанными паровозами.
И в заморозки при кострах,
на запасном пути,
тоскуя,
они бездомный гнали страх
и дружбу приняли мирскую.

Когда неслись дымки вечерние
в буфете III-его
над баками,
все чайники
и все губернии
им стали близки
одинаково.

1924

Эдуард БАГРИЦКИЙ (1895–1934)

«Я никогда не любил как надо»

«Поэт ждал революцию всей душой», — слышали мы в школе. Багрицкий ждал революцию прежде всего как революцию сексуальную. Для провинциального «книжного мальчишка», страдающего астмой, она казалась осуществлением эротических грез. Грезы эти, как всякие грезы, — болезненные, извращенные и — дыхание эпохи — кровавые. Революция манила, как мечь несовершенному миру, как расплата за прошлое:

*«И Стенька четвертованный встает
Из четырех сторон. И голова
Убитого Емельки на колу
Вращается, и приоткрылся рот,
Чтоб вымолвить неведомое слово».*

В другом ракурсе, хоть и не менее откровенно, эта расплата описана в финале поэмы «Февраль».

Подавленные желания и болезнь отзывались в стихах о буйстве плоти и о ее же закланиях и принесениях в жертву. Стихи эти, пожалуй, вернее всего выразили советский культ силы и плодородия.

До тридцати лет жил в родной Одессе. В 25-ом перебирается в тогдашнее Подмосковье — Кунцево. В 32-ом пишет свое самое извращенное произведение — «Смерть пионерки», входившее во все советские школьные программы. С ней может сравниться разве что завет Дзержинского из стихотворения «ТВС»:

*«Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей».*

Получает некоторые знаки признания от советских вождей. В

Последняя среда

феврале 34-го, еще в «безпенициллиновую» эру, умирает от четвертого в своей жизни воспаления легких.

ЭПОС

До ближней деревни пятнадцать верст,
До ближней станции тридцать...
Утиные стойбища (гнойный ворс),
От комарья не укрыться.
Голодные шуки жрут мальков,
Линяет кустарник хилый,
Болотная жижа промежду швов
Въедается в бахилы.
Ползет на пруды с кормовых болот
Душительница-тина,
В расстроенных бронхах
Бронхит поет,
В ушах завывает хина.
Рабочий в жару.
Помощник пьян.
В рыбозаводе холод.
По заболоченным полям
Рассыпалась рыба молодь.
«На помощь!»
Летит телеграфный зуд
Сквозь морок болот и тленье,
Но филином гукает УЗУ
Над ящиком заявлений.
Из черной куги,
Из прокисших вод
Луна вылезает дыбом.
...Луной открывается ночь. Плывет
Чудовищная Главрыба.
Крылатый плавник и сазаний хвост:
Шальных рыбководов ересь.
И тысячи студенистых звезд
Ее небывалый нерест.
О, сколько ножей и сколько багров
Ее ударят под ребро!

Последняя среда

В каких витринах, под звон и вой,
Она повиснет вниз головой?

Ее окружает зеленый лед,
Над ней огонек белесый.
Перед ней остановится рыбовод,
Пожевывая папиросу.
И в улиц булыжное бытие
Она проплывет в тумане.
Он вывел ее.
Он вскормил ее.
И отдал на растерзанье.

1928, 1929

Павел ВАСИЛЬЕВ (1910–1937)

Русский азиат

Почему Павел Васильев — поэт сталинской поры? То, что он жил в эту пору, не делает его таковым автоматически. А то, что эта эпоха его убила, не дает оснований это отрицать. Она убила многих своих сыновей. Так почему же? Потому что ее дикость так же кружила ему голову, как иртышская степь и туркестанская пустыня, или как схватка между станицей и аулом за воду и соль. Принято считать сталинскую эпоху временем аскетическим. Но аскетизм этот был вынужденным. Сквозь него неудержимо прорывалась стихия языческого «телесного избытка» и «звериного уюта» мясников. Эта стихия «первобытной силой взбухала» в строчках Васильева. Эту стихию, которая и породила Сталина, во второй половине 30-х начал обуздывать крепнущий сталинский режим.

Родился Васильев в Зайсане, в казахстанских степях на границе с Китаем, в семье павлодарского учителя и дочери павлодарского купца. Детство прошло на «кривых пыльных улицах Павлодара». О себе рассказывал, что в юности был матросом на Тихом океане и золотодобытчиком на приисках. Начал публиковаться во владивостокских и хабаровских газетах. В 28-ом приехал в Москву учиться в литературно-художественный институт им. Брюсова. В поведении копировал своего кумира Сергея Есенина, но наступали уже совсем людоедские времена. В 32-ом был арестован по «делу «Сибирской бригады»», которая якобы пропагандировала фашизм и колчаковщину. Раскаявшемуся Васильеву было назначено

условное наказание. В 34-ом в «Правде» появляется статья озабо­тившегося литературными нравами молодежи Горького — «О ли­тературных забавах», где применительно к Васильеву говорилось, что «от хулиганства до фашизма расстояние «короче воробьиного носа». После этого Васильев был исключен из Союза Писателей. В 35-ом за драку с поэтом Алтаузенем отправлен в исправительно-­трудовую колонию. В 36-ом возвращается в Москву. В 37-ом обви­нен в терроризме и подготовке покушения на Сталина и расстрелян.

Бахча под Семипалатинском

Змеи щурят глаза на песке перегретом,
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыков.
В них накопленной силы таится обуза —
Плодородьем добротный покой нагружен,
И изранено спелое сердце арбуза
Беспощадным и острым казацким ножом.
Здесь гортанная песня к закату нахлынет,
Чтоб смолкающей бабочкой биться в ушах,
И мешается запах последней польни
С терпким запахом меда в горбатых ковшах.
Третий день беркута уплывают в туманы,
И степные кибитки летят, грохоча.
Перехлестнута звонкою лентой бурьяна,
Первобытную силой взбухает бахча.
Соляною корою примяты равнины,
Но в подсолнухи вытканый пестрый ковер,
Засияв, расстелила в степях Украина
У глухих берегов пересохших озер!
Наклонись и прислушайся к дальним подковам,
Посмотри — как распластано небо пустынь...
Отогрета ладонь в шалаше камышовом
Золотою корой веснушчатых дынь.
Опускается вечер.
И видно отсюда,
Как у древних колодцев блестят валуны
И, глазами сверкая, вздымают верблюды
Одичавшие морды до самой луны.

1929

Последняя среда

Верблюд

Виктору Уфимцеву

Захлебываясь пеной слюдяной,
Он слушает, кочевничий и выюжий,
Тревожный свист осатаневшей стужи.
И азиатский, туркестанский зной
Отяжелел в глазах его верблюжьих.

Солончаковой степью осужден
Таскать горбы и беспокойных жен,
И впитывать костров полынный запах,
И стлать следов запутанную нить,
И бубенцы пустяшные носить
На осторожных и косматых лапах.

Но приглядишься, — в глазах его туман
Раздумья и величья долгих странствий...
Что ищет он в раскинутом пространстве,
Состарившийся, хмурый богдыхан?

О чем он думает, надбровья сдвинув туже?
Какие мекки, древний, посетил?
Цветет бурьян. И одиноко кружат
Четыре коршуна над плитами могил.

На лицах медь чеканного загара,
Ковром пустынь разостлана трава,
И солнцем выжжена мятежная Хива,
И шелестят бухарские базары...

Хитра рука, сурова мудрость мулл, —
И вот опять над городом блеснул
Ущербный полумесяц минаретов
Сквозь решето огней, теней и светов.

Немеркнущая, ветреная синь
Глухих озер. И пряный холод дынь,
И щит владык, и гром ударов мерных
Гаремным пляскам, смерти, песне в такт,
И высоко подняты на шестах
Отрубленные головы неверных!

Последняя среда

Проказа шла по воспаленным лбам,
Шла кавалерия
Сквозь серый цвет пехоты, —
На всем скаку хлестали по горбам
Отстегнутые ленты пулемета.

Бессонна жадность деспотов Хивы,
Прошелестят бухарские базары...
Но на буграх лохматой головы
Тяжелые ладони комиссара.

Приказ. Поход. И пулемет, стуча
На бездорожье сбившихся разведок,
В цветном песке воинственного бреда
Отыскивает шашку басмача.

Луна. Палатки. Выстрелы. И снова
Медлительные крики часового.
Шли, падали и снова шли вперед,
Подняв штыки, в чехлы укрыв знамена,
Бессонницей красноармейских рот
И краснозвездной песней батальонов.

...Так он, скосив тяжелые глаза,
Глядит на мир, торжественный и строгий,
Распутывая старые дороги,
Которые когда-то завязал.

1931

Август

Что б ни сказала осень, — все права...
Я не пойму, за что нам полюбилась
Подсолнуха хмельная голова,
Крылатый стан его и та трава,
Что кланялась и на ветру дымилась.

Не ты ль бродила в лиственных лесах
И появилась предо мной впервые
С подсолнухами, с травами в руках,
С базарным солнцем в черных волосах,
Раскрывши юбок крылья холстяные?

Последняя среда

Дари, дари мне, рыжая, цветы!
Зеленые прижал я к сердцу стебли,
Светлы цветов улыбки и чисты —
Есть в них тепло сердечной простоты,
Их корни рылись в золоте и пепле.

Август 1932

Кунцево

Сергей МАРКОВ (1906–1979)

«Прощание с язычеством»

Первая книга стихов Сергея Маркова вышла в 1946 году, когда автору было 40 лет.

Родился на русском Севере, между Волгой и Белым морем. В 1917-ом семья переехала в Верхнеуральск, затем в Акмолинск. В 1919 от сыпного тифа умер отец. В 1921 от холеры — мать. Работал в Упродкоме, в уездной прокуратуре, в канцелярии народного следователя. Первые стихи напечатали в акмолинском «Красном вестнике» — органе Революционного комитета и Укрепленного района. Рассказ «Голубая ящерица» заметил Горький. Как писатель в 31–32-ом годах Марков ездит по Казахстану, собирая материал для рассказов. Там ему улыбались степные Джиоконды. Там, в Джаркенстком «глиняном раю» его и арестовали по обвинению в создании контрреволюционной группировки писателей, цель которой была «захватить в свои руки какой-нибудь краеведческий журнал». По этому же делу «проходил» Павел Васильев. Давший признательные показания Марков был отправлен на три года в ссылку в Архангельск. После, как пораженный в правах, жил в Можайске — на 101-ом километре от Москвы. В 41-ом призван рядовым в армию, в 43-ом демобилизован в связи с крайним истощением. После войны с женой и дочерью жил в Москве. Писал книги о русских мореплавателях и землепроходцах. Публиковал сборники со своими прежними и новыми стихами. Новые стихи были «осторожные». На другие, наверное, уже не было сил.

АННА

(1914–1918)

Когда мы Анну хоронили,
Тащили гроб —

Последняя среда

По броневым автомобилям
Блуждал озноб...

На окровавленном лафете
Ее везли:
Кричали женщины и дети
В глухой пыли.

Ее зарыть сегодня надо,
Здесь, на плацу,
Десятидневная осада
Идет к концу.

Вдали уже стучат подковы
И скачет флаг.
Всех нас, голодных и безбровых,
Растопчет враг.

И он, коснувшись каблуками
Остывших губ,
Пробьет широкими штыками
Остывший труп.

Она пока еще — нетленна,
Светла ладонь...
Так пусть и плечи и колена
Пожрет огонь!

Спешите! Поджигайте разом
Могильный шелк,
Пока надел противогазы
Смятенный полк.

Смотрите! На уступе голом
В последний час
Огромным черным ореолом
Встает фугас.

У стен бетонного редута
Весь полк склонен,
В ревушем пламени мазута
Узор знамен.

И небо круглое ослепло...
Не верьте снам.

Последняя среда

Она вернется в виде пепла
Обратно к нам!

Осыпав гроздь мертвых галок,
Подкрался газ
И синим запахом фиалок
Дохнул на нас.

Но Анна пламенем воспета,
И Анны – нет!
...У черной койки лазарета
Дежурит бред.

Она – тепла и осиянна –
Сошла ко мне.
Пустое! – Тень аэроплана
Летит в окне...

1934

МАРИНА

Пыльный шум толпится у порога...
Узкая Виндавская дорога,
Однопутье, ветер да тоска...
И вокзал в затейливых причудах –
Здесь весь день топорщатся на блюдах
Жабры разварного судака.

Для тебя ни солнца, ни ночлега,
Близок путь последнего побега,
Твой царевич уведен в подвал,
Свет луны и длителен и зыбок,
В показаньях множество ошибок,
Расписался сам, что прочитал.

Паровоза огненная вьюга,
И в разливах тушинского луга
Вспоминай прочитанную быль –
Здесь игра большая в чет и нечет,
Волк в лесу, а в небе ясный кречет,
А в полях ревет автомобиль.

Последняя среда

Обжигай крапивою колена,
Уходи из вражеского плена
По кустам береговой тропы!
За Филями на маневрах танки,
У тебя ж, залетной самозванки,
Прапоры да беглые попы.

Да старинный крест в заречной хате...
А сама служила в Главканате
По отделу экспорта пеньки.
Из отчетов спешных заготовок
Убедилась в прочности веревок,
Сосчитала пушки и штыки...

Посмотри, прислушайся, Марина,
Как шумит дежурная дрезина,
Шелестят железные мосты,
Как стрелки берут на изготовку
Кто клинок, кто желтую винтовку,
Как цветут и шевелятся рты.

И стрелки в своем великом праве
Налетят, затравят на облаве,
Не спаслись ни в роще, ни в реке.
А на трупе — родинки и метки,
Четкий шифр из польской контрразведки,
Что запрятан в левом каблуке...

1929

Если голубая стрекоза
На твои опустится глаза,
Крыльями заденет о ресницы,
В сладком сне едва ли вздрогнешь ты.
Скоро на зеленые кусты
Сядут надоедливые птицы.

Из Китая прилетит угод,
Болтовню пустую заведет,
Наклоня красноватый гребень.
Солнце выйдет из-за белых туч,

Последняя среда

И, увидев первый теплый луч,
Скорпион забьется в серый щебень.

Спишь и спишь... А солнце горячо
Пригревает круглое плечо,
А в долине горная прохлада.
Ровно дышат теплые уста.
Пусть приснится: наша жизнь чиста
И крепка, как ветка винограда!

Пусть приснятся яркие поля,
глыбы розового хрустала
На венцах угрюмого Тянь-Шаня!
Дни проходят, словно облака,
И поют, как горная река,
И светлы свершенные желанья.

Тает лед ущелий голубой.
Мир исполнен радостного смысла.
Долго ль будет виться над тобой
Бирюзовой легкою судьбой
Стрекозы живое коромысло?

1933

Михаил СВЕТЛОВ (1903–1964)

«Парень, презирующий удобства»

Родился в небогатой еврейской семье в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) — городе с богатой традицией еврейских погромов. Первое стихотворение «Песня юных борцов» напечатали в 1917-ом в газете «Голос солдата».

За годы гражданской войны власть в Екатеринославе менялась около двадцати раз: гайдамаки, большевики, немцы, атаман Григорьев, Махно, Деникин... — «большая дорога военной удачи».

В 19-ом с приходом красных вступает в комсомол, заведует отделом печати губкома комсомола. В 20-ом несколько месяцев стрелком служит в 1-ом екатеринославском территориальном полке, созданном для борьбы с окрестными бандитами. Перебирается в тогдашнюю столицу Украины Харьков, работает в отделе печати ЦК комсомола. Выходят книги стихов «Рельсы» и

«Стихи о ребе». В 22-ом приезжает в Москву, учится на литературном факультете университета и в литературно-художественном институте им. Брюсова.

В 1924—1929 годах выходят еще четыре книги его стихов. Светлов воспевае прошедшую гражданскую войну, как предтечу Мировой революции — освобождения всего человечества, когда «походные трубы затрУбят на Запад», «красные пули дождутся полета» и «зажгутся пространства от моей небывалой игры». В 26-ом появляется самое знаменитое стихотворение Светлова «Гренада»:

.....
*Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.*

.....
*И мертвые губы
шепнули: «Грена...»*

Но советский режим оказывается слишком буржуазным для его еврейско-коммунистического мессианства. Апологет мировой революции Троцкий в 29-ом изгоняется из страны. Светлова за «троцкизм» исключают из комсомола. Следующая книга стихов Светлова выйдет только в 59-ом году. Да, собственно, и писать стихи ему было уже особо не о чем. Писал пьесы. Во время Отечественной войны был фронтовым журналистом. После войны преподавал в Литинституте. Разойдясь с эпохой, надел на себя вериги острослова и алкоголика. В 1967-ом посмертно получил Ленинскую премию за последнюю книгу стихов.

ДВОЕ

Они улеглись у костра своего,
Бессильно раскинув тела,
И пуля, пройдя сквозь висок одного,
В затылок другому вошла.

Их руки, обнявшие пулемет,
Который они стерегли,
Ни выюга, ни снег, превратившийся в лед,
Никак оторвать не могли.

Последняя среда

Тогда к мертвецам подошел офицер
И грубо их за руки взял,
Он, взглядом своим проверяя прицел,
Отдать пулемет приказал.

Но мертвые лица не сводит испуг,
И радость уснула на них...
И холодно стало третьему вдруг
От жуткого счастья двоих.

1924

ПИРУШКА

Пробивается в тучах
Зимы седина,
Опрокинутся скоро
На землю снега, —
Хорошо нам сидеть
За бутылкой вина
И закусывать
Мирным куском пирога.

Пей, товарищ Орлов,
Председатель ЧеКа.
Пусть нахмурилось небо,
Тревогу тая, —
Эти звезды разбиты
Ударом штыка,
Эта ночь беспощадна,
Как подпись твоя.

Пей, товарищ Орлов!
Пей за новый поход!
Скоро выпрыгнут кони
Отчаянных дней.
Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней.

Последняя среда

Льется полночь в окно,
Льется песня с вином,
И, десятую рюмку
Беря на прицел,
О веселой теплушке,
О пути боевом
Заместитель заведующего
Запел.

Он чуть-чуть захмелел —
Командир в пиджаке:
Потолком, подоконником
Тучи плывут,
Не чернила, а кровь
Запеклась на штыке,
Пулемет застучал —
Боевой «ундервуд»...

Не уздечка звенит
По бокам мундштука,
Не осколки снарядов
По стеклам стучат, —
Это пьют,
Ударяя бокал о бокал,
За здоровье комдива
Комбриг и комбат...

Вдохновенные годы
Знамена несли,
Десять красных пожаров
Горят позади,
Десять лет — десять бомб
Разорвались вдали,
Десять грузных осколков
Застряли в груди...

Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как тряся Джанкой,

Последняя среда

Как Саратов крестился
Последним крестом.

Ты прошел сквозь огонь —
Полководец огня,
Дождь тушил
Воспаленные щеки твои...
Расскажи мне, как падали
Тучи, звеня
О штыки,
О колеса,
О шпоры твои...

Если снова
Тифозные ночи придут,
Ты помчишься,
Жестокие шпоры вонзив, —
Ты, кто руки свои
Положил на Бахмут,
Эти темные шахты благословив...

Ну, а ты мне расскажешь,
Товарищ комбриг,
Как гремела «Аврора»
По царским дверям
И ночной Петроград,
Как пылающий бриг,
Проносился с Колумбом
По русским степям;
Как мосты и заставы
Окутывал дым
Полыхающих
Красногвардейских костров,
Как без хлеба сидел,
Как страдал без воды
Разоруженный
Полк юнкеров...

Приговор прозвучал,
Мандолина поет,
И труба, как палач,
Наклонилась над ней...

Последняя среда

Выпьем, что ли, друзья,
За семнадцатый год,
За оружие наше,
За наших коней!..

1927

Приложение

В приложении стихи трех великих русских поэтов — современников сталинской эпохи. Они эту эпоху преодолели, заплатив каждый свою цену. Только они, преодолевшие, и могут ее судить.

БОРИС ПАСТЕРНАК (1890–1960)

«В ДЫМУ ПОДАВЛЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ»

У Бориса Пастернака был большой счет к дореволюционному режиму. Главное состояло в том, что, говоря словами Бернса и Маршака, — «любовь раба богатства и успеха». Поэтому старый мир и зашел в тупик мировых войн. Временами Пастернаку казалось, что из этих военных родов, из сморщенного, покрытого кровью и слизью плода, со временем образуется здоровый счастливый человек. Но иллюзии относительно советского режима развеялись после «писательской» поездки в 32-ом на голодающий после коллективизации Урал. В отличие от собратьев по перу, привозивших новые стихи, Пастернак вернулся с нервным расстройством. В этом нервном расстройстве вполне мог привидеться ему знаменитый телефонный разговор со Сталиным, надежных свидетелей которого нет, когда Пастернак сказал вождю, что хотел бы поговорить «о жизни и смерти». Похоже, для него власть «гения поступка» и «бездне унижения бросающая вызов женщина» стянулись в узел, так же, как в полудетском впечатлении, описанном в «Охранной грамоте»: «вне железа я не мог теперь думать уже и о ней и любил только в железе, только пленницею...»

Да и о чем бы то ни было Пастернаку проще было разговаривать со Сталиным, чем с его подручными. И убило его не трагическое сталинское, а «шкурное» хрущевское время.

Из поэмы «Спекторский»

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай!

Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стало бы в те дни немое небо
В потоках крови и Шато д'Икем?

Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.

Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И все б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре.

И в киновари ренского солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,

Последняя среда

И это дни побочного потомства
В жару и правде не прямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтения,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движение, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событие исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь — старинные вещицы,
А одинокость — это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешен:

Последняя среда

История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

(1925–1931)

1917–1942

Заколдованное число!
Ты со мной при любой перемене.
Ты свершило свой круг и пришло.
Я не верил в твое возвращенье.

Как тогда, четверть века назад,
На заре молодых вероятий,
Золотишь ты мой ранний закат
Светом тех же великих начатий.

Ты справляешь свое торжество,
И опять, двадцатипятилетье,
Для тебя мне не жаль ничего,
Как на памятном первом рассвете.

Мне не жалко незрелых работ,
И опять этим утром осенним
Я оцениваю твой приход
По готовности к свежим лишениям.

Предо мною твоя правота.
Ты ни в чем предо мной неповинно,
И война с духом тьмы неспроста
Омрачает твою годовщину.

6 ноября 1942

ДУША

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,

Последняя среда

Рыдающею лирою
Оплакивая их,
Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоющей их прах.
Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.
Душа моя, скудельница,
Все, виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.
И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегной.

1956

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ (1891–1938)

«УЧИТЬ ЩЕБЕТАТЬ ПАЛАЧЕЙ»

В юности Мандельштам увлекался марксизмом, хотел вступить в боевую (террористическую) организацию социалистов-революционеров, но принят не был, вероятно, по причине малолетства. Однако война и революция выработали у него отвращение к любому, а не только государственному, терроризму. В 19-ом в Москве эсер-чекист Блюмкин в присутствии Мандельштама похваляется ордерами на расстрел, куда можно вписать любую фамилию. Мандельштам устраивает скандал и сообщает о Блюмкине его начальнику Дзержинскому. Самому Мандельштаму, опасавшемуся мести Блюмкина, пришлось уехать из Москвы в Киев. Киев с его кровавыми переходами власти из рук в руки оказался не лучшим местом для Мандельштама, который по выражению Надежды Мандельштам «всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников всех цветов». Из Киева он уезжает в Крым, где его арестовывает врангелевская

Последняя среда

полиция. К счастью, его выпускают, он перебирается в Грузию, там его снова арестовывают. В конце концов, не захотев жить в Петербурге, где расстреляли Гумилева, он поселяется в Москве. Здесь до 28-го года даже печатаются книги его стихов и прозы. В 30-тые, когда «век-волкодав» снова стал бросаться ему на шею, Мандельштам сделал попытку полюбить «шинель красноармейской складки» и «руки брадобрея». У него не вышло. Жить в согласии с требующей любви кровавой властью и «учить щебетать палачей» он не захотел.

х х х

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то,
что росло на дрожжах.

Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, —
слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —

Расширением аорты могущества в белых ночах —
нет, в ножах —

Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась
хорошо.

Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой...
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего!

Июнь 1935, Воронеж

Последняя среда

Рим

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят, —

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой, —

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов —
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков, —
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Итальяские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые шенки...

Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд, —
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит, —
Мощь свободная и мера львиная
В усыплении и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек, —
Чтоб звучали шаги, как поступки,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты,
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

АННА АХМАТОВА (1889–1966)

«ЭТА ЖЕНЩИНА ОДНА»

Взятие заложников — обычная практика тоталитарного режима. Рано или поздно заложниками в руках тирана становится все население его страны. Сталинский режим не брезговал делать заложниками женщин и детей — потенциальных «членов семьи врага народа», но, в первую очередь, конечно, держал в заложниках и уничтожал представителей сильного пола.

Расстрел, смерть от чахотки, самоубийство, эмиграция, арест, смерть в лагере — судьба близких ей мужчин. Сын провел в лагерях 12 лет. В 1965 году Ахматова произнесла в Большом театре речь о Данте, чтобы помянуть в ней «запрещенных» Гумилева и Мандельштама.

Из цикла «Реквием»

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом.

Входит в шапке набекрень.
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна.

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

1938

Лондонцам

И сделалась война на небе

Апок.

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники чумного пира,

Последняя среда

Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

1940

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ

Андрей Пустогоarov

ПОЧЕМУ ГИТЛЕР НАЧАЛ ВОЙНУ И ПОЧЕМУ РАСПАЛСЯ СССР?

**или процесс индустриализации
как мотор современного мира**

Как-то во время интернет-дискуссии о причинах Второй Мировой один из участников написал мне, что и Сталину, и Гитлеру выгоднее было начинать войну друг с другом лет на 10 позже, лучше к ней подготовившись. (При этом мы оба были согласны, что в тройке Германия, Запад, СССР наименее виноватым в начале войны был СССР). Я ответил, что Сталин действительно мог обождать, поскольку у него был резерв в виде не доведенной до конца индустриализации страны. А вот у Гитлера этого резерва не было.

Сразу подчеркну, что под индустриализацией я понимаю массовое вовлечение крестьянства в промышленное производство. Скорость этого процесса определяет ход экономического и политического развития в Новое время. Связь его с техническим прогрессом мы обсудим чуть позже.

Для начала статистика: индустриализация Германии проходила во второй половине 19 века и к началу 20-го была уже завершена. Доля городского населения в 1910 году составляла в ней 60%. В середине 1930-х численность «сельскохозяйственного сословия» составляла 17 млн. человек при общей численности около 70 млн. чел. То есть доля городского населения превысила 75%. (Сейчас доля городского населения ФРГ чуть меньше 90%).

Для сравнения приведем данные о соотношении городского и сельского населения в СССР:

Годы	В млн. человек	В % ко всему населению			
		Городское	Сельское	Городское	Сельское
1913	159,2	28,5	130,7	18	82
1940	194,1	63,1	131,0	33	67

1959	208,8	100,0	108,8	48	52
1970	241,7	136,0	105,7	56	44
1976	255,5	156,6	98,9	61	39

Заметим, что германского уровня урбанизации 1910 года СССР достиг только в 1976 году. А к уровню в 66% СССР подошел к моменту своего распада.

Но почему в качестве критерия, определяющего судьбу страны, — в данном случае СССР и Германии, я выбрал степень ее индустриализации, вернее, возможность дальнейшей массовой индустриализации? Потому что именно вовлечение крестьянских масс в промышленное производство позволяет правящему классу страны получить в свое распоряжение огромный прибавочный продукт. Причина проста: за скачок из жизни сельской в жизнь городскую бывший крестьянин готов много работать за небольшие по городским меркам деньги, принося владельцу производства сверхприбыль.

Эту прибыль государство\правлящий класс может направить на завоевание (не обязательно военное) или упрочение лидирующего положения в мире. Вряд ли кто-то будет отрицать, что именно мировое лидерство было целью участников, а борьба за него — причиной обеих Мировых войн.

Мне могут возразить, что для достижения лидерства можно использовать не только прибыль от индустриализации, но и прибыль, получаемую за счет технологического превосходства, высокой производительности труда, продажи технологий и т.п.

Однако экономическое лидерство как раз и порождает завоевание и упрочение своего технологического превосходства, в том числе за счет перекупки технологий и «мозгов». Технологическое превосходство не результат, а следствие превосходства в доходах, поскольку первое всегда следует за вторым, но не наоборот.

Покажем это на классическом примере Англии, которую именно резкая индустриализация вывела в мировые лидеры. Заглянув в учебник по истории, мы прочтем, что в начале 17 века Англия переживала кризис, место ведущей морской державы принадлежало Голландии и в европейской политике, в частности в

Тридцатилетней войне, Англия не играла никакой роли. Историки пишут, что «военная слабость Англии была очевидна современникам».

А вот в конце 17 века Англия становится ведущей экономической и военной силой Европы. Следом за этим, во второй половине 18 века начинается промышленный переворот. (Промышленным переворотом или революцией мы, как это общепринято, называем переход от основанной на ручном труде мануфактуры к крупной машинной индустрии). Отмечается, что до 18 века в Англии не наблюдалось переворота в сельскохозяйственной технике, а все изменения касались прав на владение землей.

Что же предшествовало получению Англией экономического и военного превосходства, за которыми последовал промышленный переворот? Именно вовлечение крестьян в процесс промышленного производства. Вот что известно о периоде перед революцией 1640 года: «Высокий уровень качества изделий городских цехов, ограничения, налагавшиеся ими на конкуренцию и на выпуск продукции, казались капиталистическим предпринимателям лишь бессмысленными препятствиями на пути свободного производства, мешавшими им удовлетворять требования растущего рынка. Чтобы избавиться от этих оков, предприятия переносились из городов в пригороды, в города без цехового законодательства и в деревни, где производству не грозило постороннее вмешательство и регулирование. Здесь, в рядах крестьянства, разоренного и экспроприированного переменах в сельском хозяйстве, промышленники находили резерв дешевой рабочей силы» (Хилл К. Английская революция. — М.: Изд-во «Иностранная лит-ра», 1947).

Заметим, что, если «рост рынка», о котором пишет Хилл и происходил, то это вряд ли касалось крестьянства «разоренного и экспроприированного».

Однако ко времени буржуазной революции процесс только начинался: «на севере и западе новые перемены даже не коснулись целых больших районов, — и даже там, где такие перемены происходили, еще к 1640 г. значительная часть крестьян сохраняла характер полусамостоятельных земледельцев».

Обратимся теперь к классическому труду Карла Маркса (Капитал, том 1, Гл. 24, 2. Экспроприация земли у сельского

населения). Вот что он пишет об Англии: «Насильственная узурпация ее (общественной собственности на землю), сопровождаемая обычно превращением пашни в пастбище, началась в конце 15 и продолжалась в 16 веке. Однако в те времена процесс осуществлялся в виде отдельных индивидуальных насилий, с которыми законодательство тщетно боролось в течение 150 лет. В 18 столетии обнаруживается тот прогресс в этом отношении, что сам закон становится орудием грабежа народной земли... Парламентской формой этого грабежа являются «Bills for Inclosures of Commons» (законы об огораживании общинной земли), т. е. декреты, при помощи которых лендлорды сами себе подарили народную землю на правах частной собственности, — декреты, экспроприирующие народ... систематическое расхищение общинных земель наряду с грабежом государственных имуществ особенно помогло образованию тех крупных ферм, которые в XVIII веке назывались капитальными фермами или купеческими фермами; эти же причины способствовали превращению сельского населения в пролетариат, его «высвобождению» для промышленности...»

Маркс также цитирует работу некоего доктора Прайса (1803 г.). «Если земля, — пишет доктор Прайс, — попадает в руки немногих крупных фермеров, то мелкие фермеры ... превращаются в людей, вынужденных добывать себе средства к существованию трудом на других и покупать все, что им нужно, на рынке... Выполняется, быть может, больше труда, так как больше принуждают к труду...»

Итак, мы видим, что события в Англии развивались в следующей последовательности: сгон крестьян с земли и вовлечение их в процесс индустриализации, затем превращение Англии в ведущую экономическую силу Европы, затем промышленная революция и выход Англии на передовые позиции в науке и технике. Первичным является именно процесс индустриализации, как мы его определили выше: массовое вовлечение крестьянства в промышленное производство.

Заметим на полях, что английские «крупные фермы» совпадают с советскими колхозами как полупринудительным трудом, так и тем, что прибыль от этого труда использовалась для достижения страной лидирующего положения в экономике и политике. Это не случайно — в СССР в 30-х годах 20 века происходил тот же

процесс, что в Англии 17–18 вв.: сначала массы людей лишались привычных средств к существованию, затем эти массы, готовые трудиться за низкую заработную плату, использовались для получения сверхприбылей, «запуская» механизм технического перевооружения.

Кратко остановимся также на аналогичных процессах в США. Известно, что там промышленный переворот начался до массовой индустриализации — с хлопковой промышленности в южных штатах в конце 18 века. Напомним, однако, что на хлопковых плантациях использовался труд привезенных из Африки рабов, за счет чего и создавался прибавочный продукт для промышленного переворота в этой отрасли. (В целом из Африки было привезено около восьми миллионов рабов). В то же время медленно развивалась тяжелая промышленность США, слабо внедрялись паровые машины, отставала горнодобывающая отрасль, то есть те сферы, где рабский труд не использовался. Скачок произошел только в период с 1850 по 1870г. — за это время промышленное производство в США выросло в 4 раза, что позволило им выйти по этому показателю на второе место в мире после Англии.

За счет какого же ресурса был сделан этот скачок? «В большой степени резерв рабочей силы пополнялся теперь за счет иммиграции. Место квалифицированных ремесленников занимали вчерашние крестьяне, приехавшие из Европы: их обучение проводилось быстрее и дешевле, стандартизация производства сделала рабочую силу взаимозаменяемой. Это побудило крупный бизнес активнее использовать переселенцев на крупных фабриках, в том числе и в борьбе с рабочими организациями, что, в конце концов, привело к снижению их активности в крупных промышленных центрах. Начиная с 1820-х гг. количество иммигрантов, приезжающих в Соединенные Штаты, стало резко расти. Столкнувшись с проблемами войны, бедности, дискриминации, иммигранты надеялись на лучшую жизнь в Америке». (С. Плетнев. Нэйтивизм в общественно-политической жизни США на исходе XIX столетия. МГУ, Кафедра новой и новейшей истории зарубежных стран, Диплом, М. 1996). Всего же в 1870–1890 годах в США въехали около 14 млн. человек. Вслед за притоком иммигрантов в США устремился и капитал из Европы — только в 1870–1880 годах 3 млрд. долларов. Оба эти фактора и «запустили» бурный

рост промышленности. Заметим, что при этом широко использовались технологии, уже освоенные до этого в Англии. К середине 1890 годов США вышли на первое место в мире по объему промышленного производства. После этого в начале 20 века США выходит на передовые позиции в науке и технике, развивая автомобильную, химическую, электротехническую, строительную и другие отрасли.

Приведем и данные о росте городского населения: в 1850 году его доля составляла 12,5%, в 1880 — 28%, в 1930 — 56%.

Таким образом, мы видим, что в США использование дешевого труда иммигрантов стало основой экономического роста, приведшей США к мировому лидерству сначала в объеме производимой продукции, а затем и в технологическом уровне.

Но вернемся в Германию 30-х годов 20 века. Думаю, после сказанного выше о «пружинах» роста уже не покажется парадоксом то, что именно Великая депрессия создала предпосылки для быстрого экономического развития Германии: обнищавшее население готово было трудиться за гроши. Вот что пишет учебник по истории Германии: «Заработная плата росла медленно и только в отраслях, связанных с военной промышленностью. Покупательная способность была в действительности низкой, и дорогих товаров производилось очень мало в сравнении с Веймарским периодом. Режим «копил» (а точнее, инвестировал) средства на войну, и доля заработной платы в национальном доходе с 1934/35 г. стала неуклонно снижаться.

Только с 1936 г., когда была широко развернута программа вооружений, начала подниматься реальная почасовая оплата, которая к 1938 г. достигла уровня 1929 г. Недельная же заработная плата достигла уровня 1929 г. лишь в 1941–1942 гг. Медленный рост заработной платы был связан с различными «добровольными» отчислениями из зарплаты на «нужды» ДАФ, «зимнюю помощь», а во время войны — на «железные накопления». (История Германии. Том 2: От создания Германской империи до начала XXI века (ред. Бонвеч.) (История Германии: учебное пособие в трех томах).

Достижение в 41 году предкризисного уровня зарплаты как раз и означает, что резерв Великой депрессии был уже исчерпан. Повидимому, был уже исчерпан резерв, полученный за счет отъема собственности у евреев. Не было и резерва индустриализации.

Для дальнейшего развития и борьбы за мировое лидерство оставалась экспроприация собственности за счет военных захватов.

Обо всем этом Гитлер и сказал на знаменитом совещании в Имперской канцелярии 5 ноября 1937 г.: «Доходы от роста сельскохозяйственного производства уходят на покрытие роста потребления, а потому они не означают абсолютного роста производства... Постоянное противодействие продовольственным трудностям посредством снижения жизненного уровня и рационализации в целой части света (Европе) с примерно одинаковым жизненным стандартом невозможно. После того как ликвидация безработицы привела в действие полную покупательную способность населения, стали возможны лишь небольшие коррективы нашего сельскохозяйственного производства, но отнюдь не фактические изменения основ продовольственного обеспечения».

Отметим, что все, о чем тут сказал Гитлер, очень напоминает последние десятилетия Советского Союза, когда промышленное и продовольственное обеспечение не поспевало за «постоянно растущими потребностями населения», удовлетворять которые призывала Коммунистическая партия. В СССР к этому времени так же был исчерпан ресурс индустриализации.

Об исчерпанности резервов говорит и Гитлер:

«В сравнении с проведенным до того вооружением окружающего мира мы начинаем относительно уступать в силе. Если мы не начнем действовать до 1943—1945 гг., то ввиду нехватки резервов каждый год может принести продовольственный кризис, для преодоления которого мы достаточным количеством валюты не располагаем... Уверенно можно сказать лишь одно: дольше мы ждать не можем!»

Итак, экономического резерва у Германии больше нет, надо начинать войну.

Подождите, может возразить читатель, но Великобритания и после того, как в ней был исчерпан резерв индустриализации, продолжала оставаться мировым лидером.

Ответ известен: да, был исчерпан источник индустриализации в метрополии, но отнюдь не в британских колониях.

Напомним очерк В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма»: «Пока капитализм остается капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня

жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капитала за границу, в отсталые страны. В этих отсталых странах прибыль обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно невелика, заработная плата низка, сырые материалы дешевы. Возможность вывоза капитала создается тем, что ряд отсталых стран втянут уже в оборот мирового капитализма, проведены или начаты главные линии железных дорог, обеспечены элементарные условия развития промышленности и т.д. Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм «перезрел», и капиталу недостает (при условии неразвитости земледелия и нищеты масс) поприщ «прибыльного помещения».

На наш взгляд, «перезревание» капитализма как раз и означает завершение процесса массовой индустриализации в метрополии, после которого — не согласимся с Лениным — капиталисту именно не хватает «нищеты масс» для получения прибыли за счет низкой заработной платы и тяжелых условий труда.

Отметим, что именно после завершения индустриализации Великобритании и Франции началось резкое «освоение колоний». Процитируем опять работу Ленина: «Гобсон в своем сочинении об империализме выделяет эпоху 1884—1900 гг., как эпоху усиленной «экспансии» (расширения территории) главных европейских государств. По его расчету, Англия приобрела за это время 3,7 миллиона кв. миль с населением в 57 млн.; Франция — 3,6 млн. кв. миль с населением в 36 1/2 млн.; Германия — 1,0 млн. кв. миль с 14,7 млн.; Бельгия — 900 тыс. кв. миль с 30 млн.; Португалия — 800 тыс. кв. миль с 9 млн. Погоня за колониями в конце XIX века, особенно с 1880 годов, со стороны всех капиталистических государств представляет собой общеизвестный факт истории дипломатии и внешней политики».

Население колоний, принадлежавших 6-ти крупнейшим их владельцам, увеличилось за период с 1876 по 1914 годы с 273 до 523 миллионов человек, то есть почти в 2 раза. В 1911 году в Британской Индии в Бихаре строится первый металлургического завод. Уже к 1920 году в стране полным ходом идет индустриализация.

Так что у Британии был огромный индийский источник

дешевой рабочей силы, вовлекаемой в процесс индустриализации. У Германии, потерявшей свои колонии по итогам Первой мировой, такого источника не было.

Захват колоний, принадлежавших Англии и Франции, был одной из основных задач Гитлера, пожалуй, не менее важной, чем захват Европы. После захвата Европы Гитлер уже мог бы без помех начать «серьезную дискуссию» с Англией по поводу передачи Германии колоний.

Вот что Гитлер говорил на том же совещании 5 ноября 1937: «Серьезная дискуссия по вопросу о возвращении нам колоний могла бы возникнуть только в тот момент, когда Англия окажется в затруднительном положении, а германский рейх будет сильным и вооруженным». Директива № 32 «Подготовка к периоду после осуществления плана операции “Барбаросса”» от 11.06.1941 предусматривала после победы над СССР «удар по позициям англичан в районе Суэцкого канала». 17 февраля 1942 г. после того, как танки Роммеля захватили сирийский Бенгази, японцы заняли Бирму и Сингапур, а немцы готовились взять реванш под Харьковом и перерезать Волгу, Гитлер подписал приказ о разработке плана операции по захвату Индии, куда германские войска должны были войти одновременно с японскими.

Как мы знаем, планы Гитлера не сбылись. Советскому Союзу удалось эвакуировать оборонную промышленность, заново развернуть ее на новых местах и наладить выпуск вооружения. Психологически страна была готова перейти от суровых трудовых будней индустриализации к более суровым, но в чем-то похожим, — трудовым будням войны. А Гитлеру захваченных им ресурсов все равно не хватило на долгую, изнурительную войну.

Но, как мы видели, те же экономические проблемы, которые встали перед Германией в конце 30-х, Советский Союз стал испытывать в конце 70-х—80-х годах 20 века.

Напомним, что, согласно нашей логике, война, снизив жизненный уровень советских людей, создала тем самым для государства ресурс извлечения прибыли за счет низкой заработной платы и тяжелых условий труда. Иначе говоря, население страны было готово переживать трудности во имя ее восстановления и достижения лидерства, прежде всего, в военной области, что вполне объяснимо после

стольких потерь в войне. Не был исчерпан еще и ресурс индустриализации — доля городского населения в 1959 году составляла только 48%.

Однако процесс восстановления страны был со временем завершен, «уровень материального благосостояния трудящихся» вырос, доля городского населения в 1976 году достигла 61%. Рост его за последующие 13 лет составит всего 5%, то есть в 2.5 раза меньше, чем в 17 предыдущих. Резервов для экономического роста у советской страны не осталось.

Еще раз повторим — «мотор» развития современного мира выглядит так: прибыль за счет индустриализации — экономическое лидерство — развитие технологий. Нет указанной прибыли — нет лидерства и развития.

Роковой ошибкой Советского Союза стало ухудшение, а затем и разрыв отношений с Китаем, начавшееся в конце 50-х. Советские лидеры вступили с китайскими в спор относительно «правильных» путей «построения коммунизма», что напоминает мне дискуссию в «Гулливере» о том, с какой стороны следует разбивать яйцо.

А ведь Советский Союз уже начал проводить индустриализацию Китая под своим руководством и мог бы, если бы не этот разрыв, продолжать ее и дальше, направляя прибыль на общее развитие обеих стран. Однако ложная коммунистическая догма о том, что мирового лидерства можно добиться за счет превосходства в производительности труда, привела советских руководителей к, повторюсь, роковой ошибке. Когда ресурс собственной индустриализации кончился, других источников у СССР не было. Крах его стал неизбежен.

Как известно, свято место пусто не бывает. Так называемые «развивающиеся страны», в первую очередь Китай — это основной ресурс и мотор современного мира. Это прекрасно поняли в США.

Тем более что западный мир стал сталкиваться с общими для всех индустриально развитых стран трудностями — ресурс, связанный с индустриализацией метрополий, был давно исчерпан, ресурс, связанный с восстановлением Западной Европы после Второй мировой, также подошел к концу. Китай, по сути, был

единственным резервом лидерства западной и, в первую очередь, американской экономики.

Поэтому разность идеологий, «подавление гражданских свобод», «нарушение прав человека» в случае Китая не имели для правящих кругов США ровно никакого значения. Наоборот, жесткие китайские порядки, сходные с английскими драконовскими методами 17–18 вв., обеспечивали социальную стабильность при массовой китайской индустриализации с тяжелейшими условиями труда и огромным разрывом доходов сельского и городского населения.

Заглянем в учебные пособия по недавней истории Китая.

«Налаживание отношений США с Китаем началось при президенте Никсоне. В февраля 1972 г. состоялся его визит в КНР. В 1975 году Китай посетил следующий президент Дж. Форд. В 1979 году между США и КНР были установлены дипломатические отношения. Параллельно в 1978 году Китай приступил к коренной реформе экономики, которая получила название «второй революции».

В 1979 году в Китае была создана первая, так называемая, свободная экономическая зона — в деревушке Шэньчжэнь. Менее чем через 10 лет Шэньчжэнь превратилась в современный город с населением в 2 млн. чел., а в 1990 г. там уже действовало свыше 3000 предприятий с участием иностранного капитала, причем около 2000 из них были совместными иностранно-китайскими, а 354 — полностью иностранными. В настоящее время в Шэньчжэне работают 17,5 тыс. предприятий при общем объеме инвестиций в \$22,4 млрд.

К началу 2002 г. в Китае было 6 специальных экономических зон, которые являются наиболее развитыми областями страны, более 30 государственных зон экономического и технического развития, 14 открытых портов, а так же иные зоны свободной торговли, таможенные пространства, районы и территории, имеющие специальный налоговый и торговый статус.

За годы проведения реформы внешний товарооборот Китая увеличился с 20,1 млрд. долл. в 1978г. до 510 млрд. долл. в 2001г. В 1979–2003 гг. объем внешней торговли КНР ежегодно увеличивался в среднем на 15,3%. При этом объем двусторонней

торговли с США вырос с 2 млрд. долларов в 1979 году до 459 млрд. в 2010-м».

Какой же характер носит эта торговля? «Если в 1990 году дефицит торгового баланса США в торговле с Китаем составлял 10 млрд. долларов, то в 2010 году — 273 млрд.»

Из этого следует, что экспорт из США составил 93 млрд. долларов, а импорт в США из Китая — 366 млрд. долларов, то есть почти в 4 раза больше товаров ушло из Китая в США, чем на оборот. Может, эта разность возвращается обратно в Китай? Это не так — только государственный долг США Китаю в марте 2010 года составил 895 млрд. долларов. То есть, можно сказать, что в течение последнего времени Китай около 2.5 лет полностью безвозмездно работал на США, получая в обмен на вывезенные товары американские казначейские бумаги.

Мне кажется, при таком раскладе у США не должно быть особых проблем с получением военного и технологического превосходства в современном мире. На это пока работает ресурс китайской индустриализации. Хорошо сказал об этом в 2011 году зам. министра иностранных дел КНР Цуй Тянькай: «Китай никогда не согласится с мнением о том, что Китай и США совместно управляют миром, но сотрудничество между этими двумя странами действительно является необходимым для урегулирования многих мировых проблем». Как известно, дипломаты на то и нужны, чтобы не соглашаться с очевидными вещами.

Определяющее влияние Китая на мировую экономику наглядно продемонстрировал текущий глобальный кризис. Система получения прибыли за счет вовлечения китайских крестьян в промышленное производство дала сбой, и темпы роста ВВП Китая стали снижаться: с 14,2% в 2007 году до 8,2% в этом 2012, то есть почти наполовину. Этого хватило, чтобы Западный мир погрузился в тяжелый кризис. Индикатором этого кризиса как раз и является темпы экономического роста Китая. Позволю себе следующий прогноз: пока темп роста экономики Китая не начнет стабильно увеличиваться, мир стабильно будет находиться в состоянии кризиса.

Но мы еще не договорили про распад СССР. Итак, внутренние ресурсы роста в СССР, связанные с процессом индустриализации,

были исчерпаны. При отсутствии колоний и утрате сотрудничества с Китаем у Советского Союза остался только один выход — включение в систему Западной экономики, которая держится на плаву за счет индустриализации в развивающихся странах, в первую очередь, Китае.

Включение это проходило, естественно, на условиях лидера и «диспетчера» этого экономического порядка — США. Одним из условий, очевидно, была дезинтеграция СССР, что и было выполнено пришедшими к власти в России силами во главе с президентом Ельциным. За это Россия была включена в мировую экономическую систему в качестве источника энергоносителей.

Сколько еще просуществует эта система? Ключ к ответу на вопрос опять же в ситуации в Китае. «Уровень урбанизации в стране довольно низок. Так, 64 процента китайского населения составляет сельское, и только 36 процента городское. Эти 64 процента сельских жителей составляют огромный резервуар рабочей силы. В переселении людей их села в город и кроется разгадка быстрого роста экономики. Начиная с 90-х годов XX века, приток в города сельского населения Китая ускорился. По прогнозам ООН население китайских городов возрастет к 2030 году до 884 млн. Другими словами, оно составит 59,1 всего населения страны и в целом достигнет к тому времени среднемирового уровня».

То есть, если Китай не начнет неожиданную (или вполне ожидающуюся) собственную игру, то у существующего миропорядка в запасе есть еще лет 10–15.

Мне могут возразить, что человеческими ресурсами для индустриализации обладают Индия и Индонезия, и именно в эти страны и может быть перенесен мировой центр извлечения прибыли. Такие идеи относительно Индии уже прозвучали в США в самое последнее время.

Эти страны, кстати, отказались от социалистической политики в экономике: Индия в 1991 году, а Индонезия — в 1998 году, причем курс на сотрудничество с Западом был взят ею еще в 1965 году.

Однако как раз опыт Китая показывает, что для «сотрудничества с Западом» в стране, проводящей индустриализацию, нужна авторитарная власть, которая строго обеспечивает права так

называемых иностранных инвесторов и предотвращает социальные взрывы, этой индустриализацией порождаемые. Напомним, что первоначально свободные экономические зоны в Китае были обнесены колючей проволокой, доступ туда строго контролировался и за какую-либо провинность допущенный сразу изгонялся из этого «Рая».

Кстати, во всех рассмотренных нами случаях индустриализация проводилась при жестком авторитарном управлении: в Англии 17-го века, в Германии 19-го («пруский путь»), в Советской России, не говоря уже о колониях. Половинчатая ситуация была в США, одним из источников промышленного переворота в которых были черные рабы, а вторым — иммигранты. Но для иммигрантов «источником принуждения» являлась тяжелая, а то и просто смертельно опасная обстановка на их родине. (Подобно тому, как «источником принуждения» для современных среднеазиатских гастарбайтеров в России является сложное экономическое и политическое положение у них на родине).

И вот такой авторитарной власти нет сейчас ни в Индии, ни в Индонезии, в которой в последнее десятилетие существенно упала роль военных в управлении страной.

Наиболее вероятная причина нынешних проблем в индустриализации Китая и, соответственно, в мировой экономике — ослабление власти Китайской коммунистической партии. Собственно, развитие экономики, рост ее масштабов и сложности неизбежно приводит к тому, что прежние авторитарные методы управления перестают работать. Это хорошо видно на примере СССР — уже в 60-е годы пришлось частично либерализовать методы управления страной.

То, что подобная ситуация сложилась и в Китае, хорошо демонстрирует доклад Председателя КНР и Генерального секретаря КПК Ух Цзинтао на 18 съезде КПК, сделанный 8 ноября 2012 года. В докладе говорится, что «заметно увеличились социальные противоречия». Власти следует «больше считаться с законами рынка ... Без всяких колебаний поощрять, поддерживать и ориентировать развитие необщественного сектора экономики, обеспечивать всем экономическим секторам равноправный законный доступ к факторам производства ... Вводить механизм рационального совместного пользования доходами от передачи

общественных ресурсов». Следует также продолжать реформу политической системы в сторону либерализации управления обществом — «в целях обеспечения народу законного участия в демократических выборах, демократических разработках решений, демократическом управлении и демократическом контроле ... активно привлекать полезные достижения политической культуры человечества ... углубленно продвигать отделение функций административных органов от функций предприятий». Очень похоже на то, что происходило в СССР в годы «перестройки». Демократизация стала вынужденной мерой советской власти в условиях, когда прежние авторитарные методы управления переставали работать, и возникала угроза потери управления страной.

Возвращаясь к Индии и Индонезии, скажем, что и географические условия для развития промышленной инфраструктуры там более сложные, чем в Китае, а этническая пестрота этих стран будет усиливать социальные проблемы в ходе ускоренной индустриализации.

Поэтому не зря, скажем образно, взгляды дипломатии США в последние годы устремлены на арабский мир. В результате «арабских весен» и кровавых конфликтов там снижается жизненный уровень населения, и создаются условия для использования этого «ресурса бедности» для поддержания на плаву мировой экономики.

О более радикальных сценариях Третьей мировой войны не хотелось бы говорить, чтобы не сглазить, но из книги истории строк не выбросишь: Первая и Вторая мировые войны были ступеньками, по которым США подымались к мировому лидерству. Будем надеяться, что наличие ядерного оружия у России и других стран позволит удержаться от соблазна использовать такую ступеньку в третий раз.

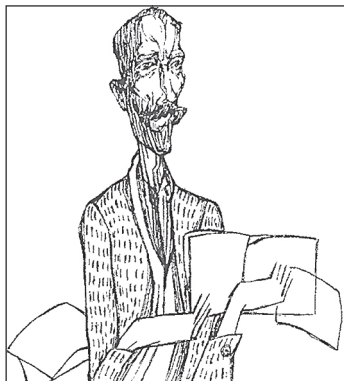
Что в этой ситуации «светит» России? Если существующий миропорядок сохранится, то у России, которая не может в его рамках оказывать действенное влияние на мировую политику, есть время для консолидации сил и ресурсов. В том числе и интеллектуальных.

Я думаю, лет через 10–15 они точно пригодятся. Это в лучшем случае. В худшем — гораздо раньше.

АНТОЛОГИЯ

В рубрике *Антология* мы публикуем стихотворения *Сашатки Егорова* и *Александра Карамазова*, сопроводив их статьей *А. Урицкого* и откликом на эту статью *А. Пустогарова*.

Сашатка Егоров



А.Егоров. Рис. А.Карамазова

Сашатка (Александр Петрович) Егоров (28 мая 1956, Лобня — декабрь 1993, Подмосковье) окончил педагогический институт, работал переводчиком, после 1989 — обозревателем в газете «Гуманитарный фонд».

Стихи начал писать в 1981; переводил с английского и немецкого. Печатался в самиздатовских журналах «Корабль дураков», «Корабль», «Морская черепаха», в газете «Гуманитарный фонд», в альманахе «Индекс»-1.

Погиб, замерзнув в подмосковной электричке.

Его единственная книга, в которую вошли стихи и переводы, вышла в 1998 году; также после смерти поэта стихи его печатались в журнале «Соло» (№ 15, 1995), были включены в антологию «Самиздат века» (Самиздат века. /Сост. А. И. Стреляный, Г. В. Сапгир, В. С. Бахтин, Н. Г. Ордынский. — Минск-М.: Полифакт, 1997).

Последняя среда

Кредо

Я слишком поздно поумнел,
А поумнев, узнал — безумен.
Пейзаж осенний так безлунен,
Я оказался не у дел.

Не говори: «Придет черед,
Все будет вновь родным и близким...»
Я собираю обелиски
Из камушков в свой огород.

Они останутся, стройны,
Как во спасенье ни лукавствуй.
Отчизны верные сыны
К ним подойдут и скажут: «Здравствуй!»

Воспоминание о Тамаре

Я вздрогнул — ария Надира,
Как воды, что прорвали дамбу.
Клянусь, за все богатства мира
Я эти звуки не отдал бы.
Как будто это ты предстала
Передо мной в «персидском» платье,
На миг сошедши с пьедестала
Навстречу моему объятью.
И там, в печальной психбольнице,
Где я сидел, пакеты клея,
Возникли вдруг деревья, птицы,
И слышен голос Гименея.

У полотен Рубенса

Смотря на груды мяса пенного
Полотен Рубенса, был весел —
Презрев законы мира гленного,
Он Тело по небу развесил!

Наверно, это все же женщины,
Но может быть — и облака...
Ведь в жизни все так переменчиво,
Какая разница пока?

Последняя среда

Пускай плывут, нежнее розово
(Что, мол, никто нам не указ!),
Ныряя в илистое озеро
Моих печальных синих глаз.

Смерть деда Пахома

Дед Пахом, менингитом измученный,
В запоздалом, как сон, январе,
Сжав оглоблю, как к лодке уключину,
Вдруг повесился на фонаре.

Не развеется снежное месиво,
Не разлезется шелковый шнур...
Лишь в глазах улыбается весело:
Сингапур, Сингапур, Сингапур!

Ночью

Поодаль вой собачий взвился,
Я не сдержал с досады вздоха.
Сосед, наверно, удавился:
Собака воеет — дело плохо!

Вчера пришел и трясся мелко,
Глазами рыская тревожно.
Опять просил на опохмелку,
А я не дал — да сколько ж можно!

В ночи, томительной и черной,
Укрывшись дедовским тулупом,
Я думал, как большой ученый:
Чем связана собака с трупом?

А может, просто полнолуние,
Соседу ж раньше с рук сходило.
Так это тоже полоумье:
Где связь — собака и светило?

Но коли умер — значит, умер.
Он в молодости был шатеном,
И не подумайте, что юмор —
Я вовсе, вовсе не шутейно.

Воспоминание о бараках

Как старый фильм, из подсознания тяжело
Пустырь всплывает — васильки да маки,
Бутылки битые и среди них ромашка;
А дальше — порыжевшие бараки,
Белье, струящее подобно каравеллам,
Мечтания о флоре незнакомой,
Здесь пузырилось по веревкам квелым
Над Гималаями металлолома.
Дорога всласть пыльна и молчалива,
И накаленный воздух терпко тает,
И панораму улиц прихотливо
В загадочный узор переплетает,
Где прошлое и будущее — рядом...
И женщина стояла на пороге
Средь простыней, отмеривая взглядом
Задумчивым, но, право же, не строгим
Пространство, где, пыля свои ботинки,
Шагал я к другу, с любопытством детским
Жизнь городка вбирая, как картинки
Какой-то старой книги на немецком,
Где обо мне рассказывалось, вроде,
А также об ее упругом платье,
Пестреющем на солнечной дремоте, —
Но слов чужих мне не был смысл понятен.
И лишь картинка белизны дороги,
Оград паренья в полудреме зыбкой
И женщины, стоявшей на пороге,
Что подарила мне свою улыбку,
Где прошлое и будущее — рядом,
Где давнее стремится к возвращенью,
Где вдруг перекрестились наши взгляды
И разошлись в томительном смущенье.
А там — герань за треснувшим оконцем,
Изломы стен, залитых жарким солнцем...

Последняя среда

Пред смешными, дурацкими гротами
Зоосада миниатюрного,
Восхищался большим бегемотом,
Полоненным решеткой ажурною.

Бегемот, бегемот, бегемотина!
Фортепьяно, залезшее в лужу!
Твоих глаз голубая блевотина
Мое сердце обезоружила.

Что тоскуешь ты, чудо болотное?
Что так жалобно смотришь, уродина?
В этой жизни мы все бегемоты,
Увезенные с ласковой родины.

Фламинго

Вот это – розовый фламинго,
Он стоя шею гнет ужом.
Его я видел в Сан-Доминго
В прекрасном озере чужом.

И днем и ночью эта птица
Торчит на тоненькой ноге.
Но встрепенется и помчится,
Когда я крикну: «Э-ге-ге!»

Рассуждение о котях

Коты – их кто не уважает?
Наверно, лишь на небе звезды.
Меня их наглость поражает –
Весь мир для них как будто создан!

Они уже мышей не ловят –
Собой дома они величат,
Когда сидят у изголовий
Или в ногах во тьме мурлычат.

Последняя среда

Порой их гонят, с криком вроде:
«Пошел отсюда вон, скотина!» —
Но все равно они приходят,
И морды их невозмутимы.

Читатель газет

Шах персидский уехал в Америку,
Прихвативши огромную кассу.
Слышен голос с далекого берега:
«Я вас мало давил, пидорасы!»

Своего же добра, мол, не знаете —
Он хотел бы, чтоб все как в Европе.
А у Рейгана (вы понимаете!)
Обнаружили рак прямо в жопе!

Времена наступают суровые —
Турок выстрелил в Римского Папу!
А спроси меня: «Что вы буровите?»
Так из глаз моих слезы закапают.

Мой отец перед смертью читал Мопассана,
Католической грусти бессонно внимая —
И над домиком нашим, над призрачным садом
Ночь цвела до рассвета, недвижно немая!
Одиноко струился дымок сигареты.
Я смотрел на отца, и мне было так странно:
Книга нежно болтала про то и про это —
И плелись воедино столетья и страны
Между тем как слабели последние узы...
К окнам жизнь подступала, чего-то просила,
Повторяя словами больного француза,
Что внутри — тяжело, а снаружи — красиво.

Подражание китайскому

Я на Чистых Прудах наблюдал лебедей,
Молча пиво цедил в близлежащей пивной —

Последняя среда

Словом, в общих чертах походил на людей,
Что шагали вокруг или рядом со мной.

Но мне нравилось, что, одиночеством горд,
Я иду, а с деревьев, мол, падает медь;
И про эти печали в сто тысячу горл
Мне не раз бы хотелось чеканно пропеть.

Лишь когда не на шутку познал я беду,
Понял разом — о том не сплету ни строки;
И вдоль Чистых Прудов снова тихо бреду
И стихи сочиняю навроде таких:

Посмотри-ка — по лону синеющих вод,
Наступающей ночи томительно рад,
Как красиво с лебедкою лебедь плывет,
А на крыльях его догорает закат

Поезд

Поезд мчится издалека,
И сияют буфера.
Хоть и мало в этом прока,
Машинист кричит: «Ура!»

Впереди сияют горы,
Скоро будет и туннель,
А родимые просторы
Не видны уже отсель.

К цыганке

Ах, цыганка, лиловая мантия,
Юбка в обручах жестких подпружин
Не нужна мне твоя хиромантия,
Как учебник по выделке кружев!

Что мне пользы томиться вопросами,
Так и сяк рассуждая тревожно?
Пусть погибну я хоть под колесами,
Коль того избежать невозможно!

Ах, цыганка, с болтливой оравой
Цыганят, неумытых и праздных!

Последняя среда

Не хватай меня за руку правую,
О казенных домах не рассказывай!

По невскому проспекту

Где плясали ветра под трамвайный аккорд,
Монументы шагали в снегу, —
В хороводе неясно-расплывчивых морд
Осознал я, что жить не могу.

Черной пастью хватал меня грязный подъезд,
Двери лязгали злобой людской,
А оконная рама — осиновый крест —
Заполняла мне душу тоской.

По глубоким ущельям слепых площадей
Я мелодией страха кружил,
Меж совсем незнакомых и чуждых людей
Спотыкался, а все-таки — жил!

Декларация

Не желаю сражаться за славу я.
Повезет — подадите на блюде.
Я ж и есть единица писклявая,
Над которой поэты смеются.

Пусть один. Тем горжусь несказанно.
Бог ведь тоже один — это милость.
В нашей жизни, где ценности смазаны,
Правда, мне нелегко приходилось.

Меня мучили классы и партии,
Да корежили силы природы.
Но в душе почитал я лишь хартию
Первозданной и вечной свободы.

И зато год от года крепчали
Мои песни, из писка развившись,
В них и вы, может быть, прозвучали,
Потаенно в строке отразившись.

Последняя среда

Эту лиру мою сладкозвучную
Вам же хуже, когда вы отвергнете.
Я в душевные скроюсь излучины,
Вы сотретесь в толпу и померкнете.

Космическое

Наверное, мир потеряет уют,
Когда из него наши песни уйдут.
Польется в Ничто, непригляден и сир,
В сумятице звуков беспесенный мир.
Где с лирой безмолвно мертвый Орфей
Закружится в сгустке морей и камней.
Никто уж не скажет, хорош или плох
Вселенную нашу соделавший Бог!
Наверное, коль умирает Орфей,
И Бог умирает, а Богу – видней.

Александр Карамазов



А. Карамазов. Автопортрет

Карамазов Александр Анатольевич (1962–2001). Уроженец подмосковной Малаховки.

Детство и юность (с 1972 по 1981 г.) прошли в Лобне.

1977–1980 — годы учебы в ПТХУ №64 (худ. училище в Москве);

Стихи писать начал рано, но записывать их (по его собственному признанию) стал только с 16 лет.

В начале 1980-х участвовал, как поэт и художник, в нескольких самиздатовских журналах и альманахах («Корабль», «Морская черепаха»).

В конце 1981 года семья вернулась в Малаховку, из которой он уже редко куда выезжал.

С 1980 по 1988 г. сменил множество профессий: художник-оформитель, слесарь, грузчик, строитель, кочегар...

С 1988 г. — фактически безработный; «занимался бизнесом и Бог знает чем...»

Осенью 1988 г. появился на свет его первый ребенок (потом будут еще трое).

Публикации: альманах самиздата «Корабль» М., «Малаховский вестник», альманах «Малаховка». Книга стихотворений А. Карамазова «Неназначенные встречи» вышла в 2003 году в издательстве «Э.РА».

Я видел — человек прошел нездешний,
по окнам глянул, будто невзначай...

Мне есть чего сказать: я сумасшедший,
я жру траву и пью бодрянный чай.

Последняя среда

Вот жизнь богемы! Хочешь: жрешь — не жрешь,
а пьешь — как на духу! — тираноборец...
Но я-то получил под ребра нож,
когда не смог достать червонец

Хочется тихого диссидентства
при именинных свечах,
Анну Ахматову — в сердце,
но чтоб и «маразм крепчал»;
и чтоб все окончилось разом,
и говорили потом,
что зверски был пьян Карамазов
и спал во дворе под кустом...

Саботажник один в поле воин

Чьи кулаки нам грозили с войны?!
Снайперы с детства въедались в умы.
Вроде, один среди сотен врагов...
«Не заводите, не дай Бог, дневников.

Лучше не думать... Ничьи кулаки...»
Он узнавал их по смачному поту.
От делового: «Раззява, работай!» —
думал: «Вот фиг, не четыре руки...»

Тихо сидел, притулившись бочком,
с книгой раскрытой в заросшем окопе:
взгляд исподлобья, на стеклах очков, —
будто глаза позабыл в перископе.

Лене Калашниковой

Как в церквах старинных голосники —
Точно дыры в куполе — не понять,
Отчего не замазал их мастер — ни дать, ни взять:
На Руси не повывелись шутники;

Так же в крохотном зальце, где акустика — ноль,
Я дырявым ощущал себя голосником,

Последняя среда

Может быть, накопителем си-бемоль,
И дыханья певицы со сквозняком.

Я не слышал, чтоб пела она — жила! —
В той деревне, станице — я не был там...
И на санках мама меня везла
По знакомым — забытым давно местам.

Блохи парятся там в парной,
Тишина на берег плывет — домой.
Это — будто подслушанный в дымной пивной
Разговор о себе, как с самим собой.

Кто услышит, чтоб пели голосники? —
Но в пустующей церкви шаги легки,
Будто небо держит за воротник,
И живой — по стенам — журчит родник...

За столом сажу: то ли водку пью,
То ли песня ее во мне, точно бред —
Как закралась? — да, видно, уловку свою
Просчитал тот мастер на много лет.

Подпись к картинке искусство

И закат нарисован
на дне с озерною рыбой,
и лодка — оторванной цепью
скребет по воде,
а небо стоит еще полное грома.
Полынь, лебеда да береза
настояны в сорванной криком гортани.
Что кричит человек на другом берегу
и машет руками?

Вновь читая Хикмета

к двухлетию со дня смерти А. П. Егорова

Товарищ Назым,
Стамбул — удивительный город;
я вижу его во сне:
весь отлитый из чистого золота,

Последняя среда

этот город живет во мне.
Какой у Вас нынче день?
Должно быть, вечное воскресенье?!
И эта улыбка на жестком лице,
как лошадь в тюремном дворе —
удивительно напоминает стихотворение,
написанное в тюрьме.

На дальней станции

Ночь — тяжело, как все на свете. —
Он едет. Едет? —
Нет, не едет — ветер.

Нет, не едет — надо стрелочнику помогать,
Где-то здесь он замерзший сидит.
Как молочный младенец, пурга
В перевернутом мире кричит

Буриме

Набережная, и — разных тонких женщин!..
Бамбуковые стройные скамейки,
и сныть, и бузина.
В такое лето Блок — гуляющий помещик
от выпитого натошак вина.

Читаю Блока...

*О, старый мир! Пока ты не погиб...
«Скифы» А. Блок*

Читаю Блока: Блок, вокзал, сосед
с претензиями беременной истицы,
периферия языка, туманный след
претензий «Скифов»; спят вповал...
Не спится —
назавтра Эрмитаж...
Тут третью ночь
дожди, и разве не в прихожей
мне раскладушку кинули, народ —

Последняя среда

говно, и неприезжий тоже...
А Ленинград — весь в пролежнях перил
диковинных, Исаакий золотится.
«Россия — Сфинкс», вотще кто посетил
ее расхищенной гробницей.

В альбом М. Ромму

Мы лишь едва коснулись в разговоре
Того, сего, компьютеров, машин —
Я думал о «провинции души»,
Парадоксальности и собственном фаворе:

Неужто этот лысый господин
Меня достанет, даже нет, не в споре,
А в чем-то, прибавляющем седин,
Ума и силы дураку в фольклоре...

ПЕСНЯ

Мне назначена другая жена,
но в жизни решать тебе.
Ты не можешь лечь спать одна,
а мне все равно: ты одна или вас две.

Вечерний чай — это столько-то
прочитанных на ночь страниц,
и ничья голова от дурных сигарет.
Я хочу лечь спать... но падаю ниц,
и мне все равно: ты одна или вас две.

Ведь выстроен дом из закрытых дверей —
для спешащих сюда извне.
Твоя соперница станет тебе нужней,
потому что мне все равно: ты одна или вас две.

И мне все равно, когда кто-то спешит домой
к своей или чужой жене:
мне хорошо... я ложусь спать в подъезде,
твердо зная, что это запой,
и тогда мне все равно: сколько выпить —
по одной или две...

ТРИЗНА АЛКОГОЛИКУ

Лене Тарарухиной

Шкура ночной медведицы стонала
Еще мокрая и теплая от мяса заката.
Вышла выпечь немного лунного золота
Ночь на выжарках медвежьего сала.
Нынче с вечера выдалось небо малое.
Эх, пьяница, к гробу доспевший на дрожжах мата,
Посмотри — раздутое к небу приколото
Заспанное одеяло.
Луна такая, будто плавает в политуре;
Говорю: Темь, как овраги, выстлала глаза...
И звезда долго-долго и беспечно курит
Папироской в панихидные образа.

Андрей Урицкий

Александр Егоров. Попытка взгляда.

Планируя писать эту небольшую заметку, я решил начать с банального утверждения, что у каждого времени есть своя доминанта, свой запах, привкус, своя оскоми́на, и что эта доминанта субъективна. Восьмидесятые годы для кого-то были трагическим временем афганской войны, для кого-то временем окончательной деградации советского социума, или каким-либо еще временем. Мне (надеюсь, не мне одному) они представляются временем торжествующего абсурда, тотальной иронии, громогласного хохота и ехидного хихиканья. Когда неожиданные перестроечные свободы переломили десятилетие и позволили сдавленному и спрятанному смеху выйти из подполья, на московской поэтической сцене воцарились иронисты — Дмитрий Александрович Пригов и Тимур Кибиров. Это не столь уж давнее прошлое еще ждет своего осмысления, но мне сейчас важно, что и для поэта Александра Егорова ирония и гротеск были важной составляющей его поэтики. Мягкая ирония и незлой гротеск. Соединение иронии с трепетностью, гротеска с лиризмом дало результаты своеобразные, а своеобразие было дополнено особенностями поэтического языка, сочетающего прочное классическое стихосложение с разговорной лексикой и сниженным синтаксисом:

*Вспоминаются разные случаи
Из детства далекого, милого...
Крокодила набитое чучело
По осенним бульварам бродило.*

<...>

*Но оно улыбнулось измученно,
Будто в душу ей бросили камень,
И ушло крокодилово чучело,
Разводя безнадежно руками...
(«Крокодилово чучело»)*

*Если спросит девчонка задорная:
«Почему борода твоя черная?» —
Я отвечу ей тут же с ухмылочкой:
«Не чернее души, моя милочка!»
(«Отпускание бороды»)*

*Бежит куда-то ежик,
Блестит на солнце гриб.
А вы вот так несложно
Стихи писать смогли б?
(«Провинциальный поэт»)*

Немногочисленные публицистические выпады в одних стихотворениях и ужесточение тона в других общей картины не меняют. Как и уникальный бестиарий, созданный Егоровым и охватывающий череду существ от растерянного Крокодилова чучела до ухмыляющегося Крокодила, от Жнейки и Комбайна до Скачущего Рояля. Надевая порой маску (подобная стратегия была использована многими), Егоров не выдерживал поэты и вновь возвращался к привычному лирическому герою, грустному иронику. Позволю себе личное воспоминание: как-то раз мы шли небольшой компанией после вечера Пригова, где он рассуждал на любимую тему имиджей, персонажей, от имени которых писал стихи, и Егоров говорил, как будто бы несколько возбужденно с кем-то спорил: «Какие имиджи! Просто хорошие стихи». Пригова он любил, вероятно, испытал его влияние, но рационально-концептуалистскую составляющую поэзии Дмитрия Александровича не принимал и, возможно, не понимал.

Неудивительно, что, стоит прочесть любую сколь-нибудь представительную подборку Егорова, и становится ясно, что

Последняя среда

ирония у него была лишь внешней оболочкой, предложенной временем и охотно поэтом принятой в дар, а под этой оболочкой находилось свое, природное элегическое содержание:

*Однако я всегда мечтал вернуться
К тебе опять, от края и до края,
Мой городок, где знают лишь по-русски,
Да кое-кто не позабыл татарский.
Где озеро охвачено закатом,
На берегу стоит пустая церковь,
А подле леса тянется кладбище.
Вот я вернулся и среди деревьев
Припоминаю из романса фразу —
Ты, как весна, любовь моя, прекрасна!
(«Языки»)*

*Я здесь прогуливал уроки,
Мозги не перетрудить чтоб.
Средь камышей и средь осоки
В дырявой лодке лихо греб.
(«На озере»)*

*Мой отец перед смертью читал Мопассана,
Католической грусти бессонно внимая —
И над домиком нашим, над призрачным садом
Ночь цвела до рассвета, недвижно немая!
(«Мой отец перед смертью...»)*

Но и здесь все обстоит не так очевидно. Поэт, заброшенный в этот мир, играл по правилам этого мира, но миру был иноприроден. Заплесневелая романтическая коллизия как нельзя лучше дополняет краткий очерк поэтики Александра Егорова, мечтавшего в стихах о южных морях, ностальгировавшего о прошлом, подкрашивая и мечты, и ностальгию все той же иронией, счищавшей плесень и маскировавшей отчаяние:

*Ах, друзья, испеките мне, что ли,
Шоколадного полога Брежнева!
Я ж Россия времен застоя,
И хотел бы вернуться в прежнее —
В мою молодость, в думы тайные,
Чтобы плыли проспекты криво,*

Последняя среда

*В это все-на-хую-мотание
После нескольких кружек пива!
(«Ностальгия»)*

*Я не красавец, денег нет в кармане...
К чему я не Марчелло Матростроти?
Теперь бы плыл куда-нибудь на яхте
С кинозвездой, что вся по мне зачихала!
(«Заветное»)*

*Бегемот, бегемот, бегемотина!
Фортеньяно, залезшее в лужу!
Твоих глаз голубая блевотина
Мое сердце обезоружила.*

*Что тоскуешь ты, чудо болотное?
Что так жалобно смотришь, уродина?
В этой жизни мы все бегемоты,
Увезенные с ласковой родины.
(«В зоопарке»)*

Это стихотворение, цитируемое последним, одно из лучших у Егорова, предстает метафорой жизни человека вообще и метафорой жизни самого поэта, переводчика с нескольких европейских языков, журналиста, безбытного жителя подмосковной Лобни, умершего от внезапной остановки сердца в ночной промерзшей электричке. Ему было 37 лет — очередная банальность в ряду прочих банальностей мира.

Андрей Пустогаров Лобненская школа

С тем же успехом, наверное, можно было назвать эту поэтическую школу и «Малаховская» — по месту последнего жительства Александра Карамазова, или просто «Подмосковная». Но «Лобненская» нагляднее, поскольку я хочу сравнить ее с Лианозовской. Ведь станция Лианозово давно уже в черте Москвы и по Савеловской дороги от нее до Лобни ехать на электричке еще около получаса. Примерно на том же расстоянии от Москвы, что и Лобня, находится и Малаховка. Вероятно, эта большая удаленность от Москвы и придала Егорову и Карамазову большую независимость от текущего политического и социального момента,

чем поэтам Лианозовской школы. Что уж тут говорить о Пригове и Кибирове, которых упомянул в связи с Егоровым в своей статье Андрей Урицкий. Кончилась советская власть и стала никому не нужной ирония Пригова и Кибирова, переместившись на дальнюю полку литературного музея. Оказалось, что без протагониста — советского режима — она не работает. Сложнее с Лианозовской школой. Она без сомнения тоже построена как оппозиция официальной советской литературе — пародия на нее, решенная в стиле гротеска. В отличие от времен Пригова и Кибирова советский режим в 50-е—60-е еще не был ватным, потешным. Об него еще вполне можно было разбить себе голову. Поэтому и более эстетически значимы стихотворения Лианозовской школы. Но все же это явная стилизация — или антистилизация, если иметь в виду советский официальный стиль. В самом деле, ну нельзя же поверить, что это все, что видит в окружающем мире глаз поэта:

*Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор. Восемнадцать квартир.
На стенке лозунг: МИРУ—МИР!
Во дворе Иванов
морит клопов, —
он — бухгалтер Гознака.
У Макаровых пьянка.
У Барановых драка.
(Игорь Холин)*

Так что и Лианозовская школа заняла свое место в литературном музее, как всякая пародия на то, что утратило актуальность.

А вот лучшие стихи Егорова и Карамазова живы и вместе с нами. В стихах их тоже присутствует оппозиция, но оппозиция эта вечная, не слишком-то зависящая от политического режима и тысячелетия на дворе. Оппозиция эта между столицей и ближней провинцией, между официозом и андеграундом, между прижизненным успехом и безвестностью. А если приглядеться, то и между механической, запрограммированной на успех жизнью и жизнью действительной — парадоксальной и непредсказуемой.

Вот, скажем, уж куда более чем привязанное к эпохе стихотворение Егорова «Читатель газет». Но разве только эту эпоху характеризуют перечисленные события? А слезы в глазах поэта? Вот то-то же. Егоров и Карамазов не слишком-то и замечают сначала советскую власть, а потом «лихие девяностые». А что, сейчас,

ежели бы дожили, ходили в лавровых венках и государственные премии получали? Вот то-то же. Поэзия Егорова перекликается со стихотворениями Николая Глазкова. Глазков ироничен, да только это не фига в кармане, как у Кибирова. Он ироничен к миру, который, как водится, поймет, о чем ему говорил Глазков, когда уж самого Глазкова не станет. В остальном он серьезен, как и положено настоящему поэту. Глазков нарочито простоват? Но разве нарочито? Разве нам не известно, что «знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть в конце, как в ересь, в неслыханную простоту»? Только это не унылая простота Лианозовской школы, которая есть воровство у самих себя. Это, уж извините за пафос, простота алмаза. И уж как нельзя лучше подходит к Егорову строчка Глазкова «Я величайший гуманист!». Кто мне не верит, прочтите стихотворение Егорова про бегемота.

Стихи Карамазова жестче. Как мне кажется, это оттого, что у него другие, нежели у Егорова, отношения со смертью. «Все-таки жил» — это не про него. «Россия — Сфинкс», вотще кто посетил ее расхищенной гробницей» — гуманизмом тут не пахнет. И не надо списывать это «расхищенной гробницей» на состояние текущего момента. Когда бы жизнь не была для Карамазова расхищенной гробницей, если:

*«Мне назначена другая жена,
но в жизни решать тебе.
Ты не можешь лечь спать одна,
а мне все равно: ты одна или вас две?»*

Тут уж точно увидишь, как
*«звезда долго-долго и беспечно курит
Папирской в панихидные образа»*

И если жизнь — это расхищенная гробница, то нерасхищенная гробница — это, очевидно, развязывающая все узлы на горле смерть. Отсюда чеканность, «классичность» лучших строк Карамазова. При таких отношениях с действительностью все равно не выйдет занять время длиннописанием.

Школа ли на самом деле эти два, в общем-то, не очень схожих поэта? Школа. Для всех нас.

НАШИ СОСЕДИ

Юрко ПОКАЛЬЧУК (1941–2008)

Головокружительный запах джунглей

Об авторе:

Поэт, прозаик. Один из первых переводчиков на украинский произведений Кортасара и Борхеса. Переводил также Хемингуэя и Сэлинджера. Глава иностранного отделения Союза писателей Украины (1994–98), президент Ассоциации украинских писателей (1997–2000), член Национального совета по телевидению и радиовещанию (2000–2002). Автор около двух десятков книг прозы и 5 сборников стихов. В качестве солиста выступал с мелодекламацией своих стихов в составе рок-группы «Огни большого города».

Что остается в памяти после долгой разлуки — с человеком, которого раньше сильно любил, или со страной, в которую когда-то влюбился, особенно если это случилось в юности, и больше никогда в ней не был и, похоже, не будешь?

Я задаю себе этот вопрос и вспоминаю восемь месяцев, которые когда-то, во времена своей молодости, провел в Индонезии.

Первым вспоминается запах. Неуловимый, трудно поддающийся описанию, непривычный для нас и самый обычный для Юго-Восточной Азии. Это запах самого тропического города, ночных городских базаров — там парфюмерные оттенки южных овощей и фруктов переплетаются с дурманящим, сонным запахом пахучих растений, что сгорают на жертвенниках, с запахом кокосового масла, на котором жарится местная пища, с запахами окружающей дремучей природы — ведь, как только выедешь за город, сразу попадешь в настоящие джунгли, с запахами тел, что пахнут не так, как наши, отдают другим, не таким, как у нас, потом и, наконец, с запахом непрерывного гниения какой-то сладкой дряни, что смешался с запахом чистого неба с неизменно большими звездами — кажется, таких звезд не бывает.

И вдобавок — запах опиума, гашиша, других наркотиков, что традиционно используются здесь для необходимого всем на земле временного умопомрачения, причем гораздо шире, чем алкоголь.

А утром — снова жара за сорок, обжигающее солнце

с безоблачного неба, работа с восьми до часу дня. После — сиеста. Спит город, спит вся страна, и жизнь начинается заново только после шести вечера, набирает обороты после восьми и вплоть до двенадцати, до часа ночи.

И так все время.

Дождя тут не бывает полгода.

А когда наступает сезон дождей, они начинаются, как по часам, ровно в семь вечера и заканчиваются в одиннадцать. Ливень просто страшный, льет, как из ведра, по улице нельзя пройти в обуви, все залито водой, а к утру не остается и следа воды, все сухо и чисто — тропики. Снова жжет с безоблачного неба солнце и лишь к семи вечера соберутся тучи и снова пойдет дождь.

И так все время.

Наш самолет пересек экватор как раз в Новый Год, — двадцать один мне стукнуло через месяц. До этого я ни разу не был за границей и попал в Индонезию волей случая или по глупой ошибке советских чиновников, потому что, как студенту-индологу, мне полагалось ехать на практику в Индию, а послали меня в Индонезию, языка которой я не знал — работать переводчиком с английского у советских военных моряков, что продавали индонезийцам старые военные суда.

Если бы я не прожил год в общежитии в Питере с двумя африканцами из Танзании, которые не знали русского, и не научился за этот год свободно говорить по-английски, то неизвестно, что бы я в этой Индонезии делал.

А так — Бог дал, дело более-менее пошло.

Первые впечатления: когда мы, группа переводчиков, студентов-востоковедов из Москвы и Питера, вышли из самолета, нас сразу окутало остроагрессивное облако горячего воздуха, мы тут же покрылись потом. Но это был просто временный шок от жары и усталости после суточного перелета. А спустя несколько минут, озираясь по сторонам — нас прилетело восемь — вдруг увидели удивительно красивую стюардессу с абсолютно правильными чертами лица, с прекрасной смуглой, словно хорошо загорелой, кожей и милой улыбкой. Разве что ножки были чуть тонковаты и сзади тоже чего-то немного не хватало.

Но это были мелочи.

Мы все тут же в нее влюбились, но через минуту увидели вторую такой же красоты. Потом третью...

После оказалось, что в этой стране очень мало некрасивых

людей. Редко встретишь на улице отталкивающее лицо. Но и в некрасивом обязательно будет какая-то экзотика. А, в общем, все — и мужчины, и женщины — были красивыми. У здешних мужчин на лице не росли волосы, и трудно было определить, сколько кому лет. Разве что у человека за пятьдесят немного расплывается лицо, чуть проступают морщины, и тогда можно понять, что это человек в возрасте.

Я всегда мечтал очутиться в тропиках, вдохнуть запах сказочных романтических краев, собственными руками прикоснуться к тому, что описано в сотнях приключенческих книг — я с детства глотал их, создавая в воображении мир, который, как мне казалось, никогда не увижу.

И вот это случилось. Я здесь.

Неделя ожидания в Джакарте, пока нас не разослали на работу по разным военным базам.

Джакарта! Это же Батавия! Когда-то сюда в Иностраннный легион попал Артюр Рембо, и отсюда же он вскоре удрал. Это о ней из юношеской моей памяти всплывала полублатная, полуромантическая песня:

«Есть в Батавии маленький дом,
Он стоит на обрыве крутом.
В этом доме в двенадцать часов
Старый негр отпирает засов».

Еще в Москве я купил учебник и словарь индонезийского языка и уже в самолете принялся учить новый язык.

Он оказался достаточно простым. Латинский алфавит. Если два раза подряд скажешь любое слово — «друг-друг», получится — «друзья». Слово товарищ звучало «судар», что соответствовало русскому «сударь», некоторые слова были знакомы из хинди, который я учил в университете, некоторые из санскрита, который я тоже учил, и, в конце концов, через три месяца я уже свободно разговаривал на обиходном индонезийском.

По Джакарте мы, недавно приехавшие, ходили стайкой, постепенно осваиваясь.

Джакарты на самом деле две.

Одна — это большие здания, почти небоскребы, асфальтированные улицы, широкие проспекты, почти нет зелени. Обычный большой южный город, где из экзотики — только смуглые люди с раскосыми глазами.

Но чуть поодаль от условно-европейской части города

начинается другая, народная Джакарта, которая состоит из сотен маленьких деревень-кампунгов, где люди живут в крошечных домишках за пальмовыми и бамбуковыми стенами, там вдоволь зелени и худеньких коричневых тел, что суетятся вокруг своих жилищ.

Многочисленностью каналов и мостов Джакарта напоминает Амстердам. Это тоже город множества островов.

Днем — работа, жара, пыль, пот. А ночью люди выползают к каналам и моются, стирают, дети купаются и радостно визжат, плескаясь в воде. Вода — это жизнь.

Другая жизнь.

Все тут, как и везде в Индонезии, текучее, все переплетается и переливается одно в другое, все скользит и изгибается, принимаемая фантастические очертания и вызывающе-выпуклые формы.

У города нет границы, деревни — его прямое продолжение, там царит влажная зелень деревьев, невероятное растительное безумие, шелест листвы, журчание коричневой воды, взбивающей в каналах белую пену.

Примерно через неделю я оказался в Сурабае — миллионном портовом городе, втором по величине после Джакарты и одном из самых бедных в Индонезии.

Сурабая, бывшая военно-морская база голландцев, сохраняла типичные черты старого колониального города. Есть несколько проспектов с многоэтажными домами, есть кварталы с богатыми особняками, виллами и отелями. Но большинство населения Сурабаи живет в кампунгах. И в них мне было гораздо интересней, потому что именно там пульсировала настоящая жизнь.

Нас привезли на военно-морскую базу и сказали: тут и будете жить, с базы — ни ногой, в городе вам делать нечего, там шумно и грязно. Зарабатывайте деньги — купите машину.

Что угодно я могу вытерпеть, только не недостаток свободы, не тупой приказ — отсюда ни шагу. Поэтому обдурить советское начальство я должен был по простой необходимости, как всякий, кто хоть что-то понимает в жизни. А если к тому же в жилах, как у меня, есть хоть капля цыганской крови, то это уже сам Бог велел.

Я быстро познакомился с приставленными к нам, советским военным и переводчикам, слугами — все они были примерно моего возраста, от восемнадцати до двадцати пяти — и вместе с ними начал познавать местную жизнь во всех ее проявлениях.

Самым близким моим другом стал Имам Суфи Састродихар-джо путро — так звучало его полное имя, причем «путро» означало сын. Все звали его просто Суфи.

У Суфи было широкое лицо, мягкая, вкрадчивая походка. Косматые брови и торчащие волосы делали его похожим на черного кота или смуглую рысь. Гибкий, почти всегда улыбающийся грациозной и загадочной улыбкой, довольно приветливый, он, тем не менее, некоторое время держался от меня на расстоянии, пока мы не подружились по-настоящему.

Сколько тебе лет, как дела, то да се, а ты уже трахался, а хочешь у нас?

Вопрос на засыпку!

Если узнают — прощайте навсегда мои заграницы.

Но как отказать? Что сказать?

— Я тебя отведу! Пойдем вдвоем к одной! Сначала ты, потом я!

— Нет, сначала ты, а потом я!

...

— В бордель? Нет, я боюсь!

— Да она чистая, я всегда к ней хожу!

Ему было восемнадцать, мне — двадцать один.

Денег у меня в Индонезии не было, зарплату нам не выдавали, но мы могли получать в счет заработка сигареты и виски.

Я не курил, но сигареты брал.

Суфи продал мой блок «Мальборо», я получил еще бутылку виски, и мы решили отправиться в город.

У Суфи был свободный день. Он ждал меня в городе, за двенадцать километров от базы, рассказав, как с нее выбраться, не попадаясь советским на глаза. Я, ужасно волнуясь, влез в грузовик, что отвозил в город местных моряков.

Машины с моряками обычно останавливались в нескольких определенных местах, и через полчаса я был в назначенной точке, где меня встретил Суфи.

Увидев меня, он усмехнулся весело, но в то же время хитровато и хищно, и я немного испугался, даже его я слегка побаивался — кто знает, что из всего этого выйдет?

Но мы без лишних слов побрели по ночному городу, по узким переулкам и улочкам, и вышли к освещенному только масляными светильниками и свечами удивительному темному рынку с тем самым, почти удушающим пряным ароматом тропической страны. У рынка мы сели к велорикше, и он повез нас в нужное

место. К велосипеду рикши сзади была приделана двухместная кабинка на двух колесах, на которую накидывалось покрывало, так, что снаружи не разглядишь, кто в ней сидит. Через какое-то время мы остановились, Суфи расплатился и мы вошли в какую-то, прямо скажем, хибару — без вывесок и надписей, с бесцветной клеенчатой занавеской вместо двери. Внутри горел свет.

Я совсем сник и, если бы пришел один, наверное, удрал бы от страха и смущения, но Суфи был здесь своим.

Через пару минут к нам подошел толстый китаец в очках — китаец крупнее индонезийцев и более светлокожие — отвел нас в маленькую комнату, велел снять штаны и показать члены. Это был врач. Он убедился, что признаков сифилиса и других заразных болезней у нас нет, и сказал: «Все в порядке».

Суфи повел меня к своей знакомой. Он уже предупредил ее, что мы придем вместе.

Мы вошли в комнату, где кроме широкой деревянной кровати находились еще железный умывальник с миской на табурете, рядом с ним плетеное кресло, а в неуклюжей пестро раскрашенной деревянной раме висело старое, все в пятнах, небольшое зеркало.

На кровати под почти прозрачным покрывалом полулежала красивая девушка. Сразу было видно, что она совсем голая. Она была чересчур ярко покрашена, но на вид приятная и довольно молодая.

— Это Маро, — сказал Суфи. — А это мой друг советико. Он будет с нами.

Маро приветливо улыбнулась и сбросила с себя покрывало. Ее обнаженность меня просто шокировала. Вот так сразу!

Я всматривался в нее. Хорошая фигура. Небольшие, но тугие на вид груди с крупными сосками, тонкая талия, довольно широкие бедра. И ни волосинки на всем теле. Она была тщательно выбрита на лобке и под мышками. Проститутки тут все выбриты. Это обязательно, в первую очередь по гигиеническим соображениям. Влажный климат, пот и все такое.

Я смотрел на голого Суфи и удивлялся прямым, как на голове, волосам на лобке над его мужским орудием и под мышками. Волосы в этих местах просто торчали кустами и выглядело это забавно.

(А он с удивлением разглядывал завитушки у меня на лобке).

Благодаря этой ее выбритости я впервые видел всю женскую географию, ее внутренние половые губы, что лишь слегка выступали при взгляде с расстояния (потом я все рассмотрел и вблизи), они были более темного, почти коричневого цвета на фоне ее светло-смуглого тела.

Я растерялся от простоты движений и действий. А Суфи быстро сбросил одежду, подмигнул мне — я уже сидел в кресле — и лег к ней.

Ласки их были недолгими. Она помассировала все его тело, ничего не пропуская, затем стала покрывать все более глубокими поцелуями его самые интимные места, и я думал, что кончу прямо на месте от того, что вижу.

Суфи схватил ее за груди и принялся их мять, потом нагнулся к ней, поцеловал в губы. Я видел, как твердо торчит его обрезанный конец и ждал, когда же все начнется.

Но вот он взобрался на нее, и они начали движения.

Я чуть не потерял сознание, я отвернулся, потому что еще чуть-чуть — и кончил бы прямо здесь без всяких прикосновений к своему члену.

Но любопытство побеждало все остальное, я кое-как сдержался и наблюдал за движениями Суфи, мне хотелось, чтоб он уже поскорее кончил и слез с нее и я бы занял его место.

В том, как извивалось на Маро тонкое, смуглое, сильное и упругое тело моего приятеля, было что-то ужасное, отвратительное и прекрасное одновременно. Я не мог оторвать от них взгляд — в жизни я не видел ничего подобного, ни наяву, ни на рисунках, ни в кино. Это зрелище влекло и отталкивало в одно и то же время. Теперь на теле Суфи не было заметно и следа волос. Ягодицы узкие и упругие, безволосые, как у мальчика, напрягались и расслаблялись в такт его судорожным движениям. Темно-коричневый цвет его и ее интимных мест слегка выделялся на фоне их более светлых тел.

Они были очень красивые в этом совокуплении. А, может, я был слишком молод, неопытен и поэтому восхищенно шокирован их обнаженной страстью.

После, в течение многих лет, я ничего подобного не видел. А, когда однажды опять столкнулся с чужим совокуплением, то впечатление было уже совсем другим. И больше такого прекрасного зрелища двух соединенных страстью молодых красивых тел мне уже видеть не приходилось.

Конец у меня торчал почти до подбородка, и я опять едва не кончил в ожидании своей очереди.

Вскоре Суфи застонал и, несколько раз судорожно дернув-шись, замер в ней еще на минуту, потом медленно и мягко, по-кошачьи, выполз из нее, взглянул на меня и широко улыбнулся своими рысьими глазами, показывая наклоном головы — давай теперь ты! Вперед!

Я все еще был в трусах, потому что стеснялся раздеться догола.

Мы с Суфи не раз видели друг друга голыми под общим душем в нашем домишке на базе. (Он как-то сказал — о, вы все такие крупные, а мы мелкие. Да, индонезийцы были значительно меньше нас, и не только размерами фигуры, но и всего остального).

Но под душем это было нейтрально и несексуально. А здесь была женщина и мой приятель, который только что ее трахал. Мертвыми руками, как в обмороке, я медленно и неуверенно стягивал с себя трусы. Весь мой сексуальный запал мгновенно исчез.

Но отступить было некуда.

Я сбросил трусы и, дрожа от страха, пошел к ней. Конец у меня теперь не стоял.

В ее глазах читалось неподдельное любопытство ко мне, светлокожему — тут это имело большое значение, небывалая редкость — она посмотрела на меня снизу и произнесла: о-о-о!

А потом взяла меня за член и притянула к себе. Уже через мгновение я снова воспрял, стоило ей только до меня дотронуться.

В ее черных раскосых глазах, в ее влажных, полных, полуоткрытых губах было неприкрытое желание продолжения.

Я дотронулся до ее груди, сначала несмело. Но, помня движения Суфи, принялся сжимать их все сильнее. А потом, прижавшись к ней, начал пылко ее целовать, а она не отпускала мой конец, пока он не затвердел, потом улыбнулась, отодвинулась и потянулась к нему губами. Это было блаженное мгновение, но я сразу отстранил ее, потому что уже был готов. Она сама ввела меня в себя и при этом тяжело вздохнула, словно от боли: О-о-о!

А у меня уже не было сил сдерживаться, и я сначала замер, войдя, и какой-то миг кайфовал от первого ощущения влаги, а потом стал быстро в ней двигаться, до предела напряженный и счастливый от невероятного блаженства.

Она была узенькой и нежной, словно нетронутая

девушка, — так мне казалось, и я радостно и легко двигался в ней, будто углубляясь все дальше и дальше, не в силах уже отсюда выбраться — там самое место для моего конца, там его настоящая пристань, находится там положено ему самой природой — но погода, отдышавшись, вышел.

Она утомленно лежала, закрыв глаза, и была очень красивая.

Суфи сидел, потягивая виски прямо из бутылки, потом передал бутылку мне.

На этот раз он смотрел на меня спокойно, довольно и даже, можно сказать, радостно.

— Теперь ты мой брат! — сказал он. — Мы никогда этого не забудем! Правда?

Это была правда!

Мы залезли на нее еще по разу.

Как и у всех смуглых людей, у Маро была жестковатая кожа. Эта кожа словно слегка тебя отталкивала, потому что при контакте ты не чувствовал, что она тебе откликается. Но это что-то значило только в первые мгновения, потом все тонуло в водовороте ощущений. Точно так же и незнакомый, непонятный запах ароматического южного масла, слегка дурманящий, экзотический, странный, создавал между нами еще одну преграду, прорывая которую, вдыхая и мгновенно вживаясь в этот запах, я пересекал еще одну границу на пути в иную реальность.

Во второй раз, как всегда, все было проще, дольше и намного приятнее, власть.

Я уже почти не стеснялся того, что на меня смотрит Суфи. И на него я уже смотрел по-другому. Я уже побывал там, где он сейчас. Память тела почти мгновенно делает человека другим. Я стал другим.

Мы еще не раз наблюдали друг за другом в таких обстоятельствах, и это сделало нас настоящими друзьями. Ведь благодаря Суфи я испытал первый полноценный секс и получил желанный половой опыт.

Как-то раз он взобрался на нее сзади. Это зрелище опять было для меня в новинку. Сам я так не умел. Но тогда тоже попробовал и ощутил новый смысл в свободных движениях, в возможности видеть больше и чувствовать женщину по-иному.

Но это произошло гораздо позже, а сейчас еще был самый первый раз. Но вот все кончилось, и мы попрощались с Марой — улыбаясь немного сонно, но явно удовлетворенно, она

пригласила нас приходить еще, сказав, что мы необыкновенные, что мы лучше всех и она нас любит.

Мы с Суфи оделись и отправились гулять по городу.

Я был невероятно счастлив, очень ему благодарен, я уже любил его, как брата, как самого близкого человека, я уже думал, что дружба наша продлится всю жизнь.

Веселые, в приподнятом настроении, мы радовались друг другу, пили пиво с рисовыми блинчиками, поджаренными на кокосовом масле, и поднимали тосты за нас и нашу дружбу. Это было прекрасно!

Потом я добрался до базы, опять же со всеми предосторожностями, и спал как убитый!

Счастливый и гордый от всего пережитого.

Я думаю, что уже тогда — именно в Индонезии — у меня сложилось отношение к сексу, как к опасному путешествию в другую страну, в другую реальность, за пределы нашего мира, в забытье, что дает новое знание. Экзистенциальное чувство реальности, ощущение мгновенной полноты жизни приносили мне только смертельная опасность и такой секс.

А когда он соединялся с любовью, то в нем появлялись миллионы новых измерений. Миллионы новых миров.

А это был мой первый сдвиг реальности, переход в другое бытие с помощью секса — запретного, связанного с опасностью, с риском.

В Индонезии я впервые почувствовал ностальгию по тому, чего не было. Я словно возвратился туда, куда стремился всю жизнь. Или стремился в своих прежних жизнях. Было чувство возвращения в реальность, которую я раньше не знал. Такое со мной потом случалось только в Никарагуа и еще в Рио.

А тут это было впервые. Я возвратился к собственному «я», которого не знал, но по которому чувствовал давнюю ностальгию. И еще по этой реальности, которая была вроде чужая, но на самом деле и моя собственная.

Мы с Суфи посетили Маро еще несколько раз.

А потом Суфи неожиданно перевели в другой филиал базы и все на время прекратилось.

Я очень по нему скучал.

А по базе уже ходили слухи, что кто-то из переводчиков шляется по ночам в городе. Подозревали меня, и похоже было, что

Суфи убрали с нашей базы из-за дружбы со мной, чтобы лишить меня проводника в моих странствиях по ночной Сурабае.

Я просто затосковал. И не потому, что исчезла возможность трахаться.

В двадцать половое воздержание переносится гораздо легче, чем когда чуваку сорок и больше.

В юности можно и подрочить с горя, и подождать или переждать, потому что чувство, что впереди у тебя еще уйма времени и ты все успеешь, доминирует над всем остальным.

Это потом уже не терпится, потому что надо, чтоб прибор не ржавел — вот и доктора так говорят — да и где-то внутри сидит подсознательный страх, что все может скоро прекратиться и надо брать свое.

Мне не хватало Суфи, его улыбки, его заботливого товарищеского отношения ко мне. Когда его забрали, я словно осиротел.

Прошло больше месяца.

Мне приходилось много работать с разного рода военными судами — от подводных лодок до малых противолодочных катеров, буксиров, торпедных катеров.

Переводить все связанное с внутренним устройством корабля, особенно технические термины, было очень трудно. Поначалу я так уставал, что ночью мне снилось, будто продолжаю переводить, ритмично поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Мне стало не до гулянок.

Но постепенно ко всему привыкаешь. Привык и я. А в Индонезию просто влюбился.

Я прямо пьянел от ощущения, что оказался в такой прекрасной экзотической стране, и осмелился на приключения, и начинаю понемногу жить жизнью индонезийцев.

Меня всегда привлекала игра в кого-то другого. словно бы смена своего «я» на чье-то — пусть временная, но на это время почти полная.

Я любил очутиться в цыганском таборе, или в трущобах Рио, или в отряде охотников за дикими оленями на Таймыре, или в боевом отряде сандинистов в Никарагуа, чувствуя, что стал одним из них.

А после возвратиться к себе самому, наполнившись другой жизнью, новым знанием.

В одном из моих любимых фильмов «Профессия: репортер» (режиссера Микеланджело Антониони) главный герой,

утомившись от себя самого и от своей репортерской работы, присваивает документы внезапно умершего бизнесмена и некоторое время переживает перипетии чужой жизни, любовь и опасности, и потом при каких-то романтических обстоятельствах вдруг говорит — я уже устал от этого, ко мне возвращается мое настоящее «я».

Это мне близко. Потому что сам я именно так и жил. Но понял это про себя и свою жизнь, отчасти благодаря тому фильму, значительно позже, а в Индонезии двигался в этом направлении интуитивно.

Я был счастлив, как бываешь счастлив от любви, хоть и чувствуешь в глубине души, что она не навсегда, но счастлив именно в это мгновение, не думая о том, что совсем скоро новое время принесет тебе боль.

Потом в нашем пребывании в Индонезии настал довольно странный период. Работы практически не было.

Неделями все без дела сидели на базе. Завтракали, обедали и ужинали в общей столовой и от безделья просто сходили с ума. Офицеры развлекались тем, что, вырезав рогатки, стреляли из них в больших крыс, которые вертелись тут повсюду. За мной же, в связи со слухами о гуляке-переводчике или потому что кто-то донес, установили негласный надзор.

Я выходил за границы базы и бродил вокруг нее. Тут было много имений, в них, в основном, жили богатые люди.

Но этот мир меня почти не интересовал, он был очень похож на дачи нашей верхушки. Разве что чуть другая природа, да люди смуглые и раскосые.

Меня манил прелый запах молчаливого первобытного тропического леса, джунглей, которые я до сих пор видел только из окна автомобиля.

Вечером я выходил на берег моря и смотрел, как луна набрасывает свое яркое серебристое покрывало на густую траву, на бессонную черно-синюю гладь моря, на прибрежную стену переплетенных кронами деревьев, чувствовал запах древних болот, исконный запах первобытной природы. На меня веяло величием, безмолвным ожиданием будущей встречи. Казалось, в любую минуту может произойти что-то необычное, оживут чары и фантастика станет реальностью.

Как-то раз я проходил мимо одного из имений неподалеку от базы. В саду возле дома шла гулянка. Все были в гражданском,

но, присмотревшись, я узнал среди гостей одного нашего морского офицера. Он тоже заметил меня и подозвал жестом. Я подошел.

— Присоединяйся к нам, только никому про это не говори!

Выходит, не один я нарушал порядок в советской колонии.

Китайнку звали Мери. (Мне не нравились американские имена в Индонезии — они убивали для меня всю экзотичность ситуации — но здесь, особенно у богатых, эти имена считались крутыми и модными.)

Мы танцевали с ней весь вечер, и все случилось прямо в саду под кустами.

При лунном свете сад казался призрачным. Мы нашли приют в его глубине. Не произнесли ни слова. У Мери была тонкая нежная кожа, и вся она была очень белая в сравнении со смуглыми индонезийцами, по крайней мере так мне казалось при лунном свете. Вокруг было тихо, слышно было только наше дыханье и то, как терлись о траву мои локти и колени. Эти звуки, казалось, наполнили сад, и поначалу я опасался, что наши вздохи и сопение кто-нибудь услышит, но вскоре мне стало все равно, поскольку близился финал. С приглушенными вскриками мы кончили почти одновременно, она всего лишь через мгновение после меня. Подергавшись в ней еще минуту, я вышел из нее, откинулся навзничь и смотрел в небо, не одеваясь и не вытираясь, мгновенно протрезвев и погружившись в свои мысли. Казалось, все сразу смолкло, и тишина заполонила двор и сад, проникая прямо в сердце — тайной этой страны, ее величием, невероятной реальностью ее скрытой жизни.

На следующий день я опять пришел к этому дому, чтобы повидаться с Мери. Я уже думал, что хорошо устроился. Но ничего не вышло. Она здесь не жила, а была вчера в числе гостей.

В общем, погуляли и хватит.

Мне были не по вкусу такие кратковременные истории, всегда хотелось продолжения, хоть немножко романтики. А это выглядело, как простые блядки.

Иногда мне удавалось выбраться в город. Я просто бродил по улицам, ел, пил, заходил в кино. Главное, я был свободен.

Я нормально себя чувствовал без компании, особенно без случайной. Предпочитал в одиночку познавать этот экзотический мир.

Сильнее всего меня влекли ночные базары, словно

наполненные тайными возможностями. Ночью город просыпался — все эти запахи влажной темноты, и неожиданные среди города, прямо за базаром, заросли банановых кустов и пальм, и еще каких-то экзотических деревьев, из-под которых вдруг выныривали уличные проститутки, дешевые и опасные из-за венерических болезней, и несущиеся на большой скорости автомобили, и разрисованные, разукрашенные наклейками кабинки велорикш, и аромат сигарет с гвоздиками и кокосовым маслом, и таинственные огоньки и свечи, за которыми стоят на базаре торговцы, и воры на каждом шагу, и нищие, — их видимо-невидимо, и люди, что спят на газонах и теплом асфальте, даже женщины с детьми, потому что некуда деться, и вся атмосфера ночной жизни, которая возбуждает все органы чувств, обостряет сексуальность, заставляет искать приключения, стремиться к неведомому, неизвестному. Дотрагиваться до тайны.

За восемь месяцев пребывания в Индонезии сексуальных приключений у меня, если посчитать, было не так уж много. Не больше чем у обычного, немного склонного к похождениям, украинского студента.

Я не отваживался пускаться в авантюры, так как понимал, что с белым, который в одиночку скитается по ночной Сурабае, может случиться все, что угодно. На кого нарвешься.

И бродил, осторожно вглядываясь в окружавший меня город, но отказаться от этих прогулок просто не мог.

А кольцо вокруг меня все сжималось. Я уже боялся ездить в город на грузовике вместе с индонезийскими матросами, так как за мной следили.

Но был среди нас молодой индонезиец — лейтенант Джосо, который тоже скучал на нашей базе. Мы с ним закорешились, разговорились, и началось еще одно мое крутое приключение.

Происходило это так.

Вечером в шлепанцах и домашней одежде я выходил на прогулку к морю, а вдоль него шла какая-то дорога. И совершенно случайно по этой дороге именно в это время всегда проезжал маленький автобус, останавливался рядом со мной, и я, оглядевшись по сторонам — не видит ли кто, запрыгивал в него, а Джосо сидел за рулем и гнал во весь дух, я переодевался — в автобусе лежала моя другая одежда — и через пол часа мы были в маленьком городке Бангкалани, а в нем уже ни одна собака ничего про меня не знала, я вел себя, как хотел, и никого не боялся.

Для начала мы, ясное дело, заходили в какой-нибудь бар, немного выпивали и отправлялись в бордель. Скрепить нашу дружбу.

Джосо говорил, что я принес ему праздник, потому что одному ему неинтересно, и торчать ему тут на базе еще три месяца, а это такая тоска... ну, и так далее. Видно, ему хотелось отправиться на поиски приключений вместе с тем, для кого они были в новинку, и лишить его невинности незнания — незнания этого уже знакомого для Джосо мира.

Это было похоже на инициацию подростка. Я стал для него именно таким подростком, которого он знакомил с миром секса, хоть старше меня он был всего лишь года на три.

Так, наверное, происходило и в наших приключениях с Суфи. Он учил меня жить, хоть и был младше, и получал от этого кайф.

В первый раз в борделе девочка мне попалась очень худенькая и немного напуганная, но у меня уже был опыт, я уже неплохо разговаривал по-индонезийски — сказал ей пару комплиментов, подарил пачку сигарет, и мы принялись за дело.

Звали ее Дане. Она была такая узенькая, что вскрикнула, когда я вошел в нее. А я, как застоявшийся жеребец, сразу погнал на полном скаку. Я был молодой и глупый, порой мне хотелось что-то доказать женщине — я тогда мало что в них понимал. Я чувствовал в тот момент только себя и, когда кончил, вдруг увидел, что она лежит без движений, как мертвая.

Она потеряла сознание. Я перетрухал, как никогда. А вдруг она действительно умерла?!

Я начал ее растирать, тормошить, и — ура! — она открыла глаза и тихо сказала:

— Ты такой большой, у меня никогда такого не было.

Я был вполне обычный, это для них я — большой, потому что по размерам они все, как двенадцатилетние пацаны (я помнил своего друга Суфи, да и других видел в душе), хотя и делают детей, и любят секс, как и все остальные.

Я уже побаивался забираться на нее во второй раз. Но она сама захотела, сказав, что это у нее от испуга, а сейчас все будет хорошо.

Во второй раз я был смиренный и старался не только для себя, а для нас обоих. И все случилось на общее благо и очень даже классно!

За это время в Индонезии я уже кое-чему научился. Мой новый опыт был словно опытом того, кто впервые побывал на Марсе.

Мои сексуальные эмоции обостряло ощущение фантастичности окружающего мира. Я все глубже погружался в эту похожую на сон реальность, был в этом счастлив и изо всех сил боролся за то, чтобы сон продолжался.

Несколько раз я выбирался в Бангкалан вместе с Джосо и ходил к Дане, и к кому-то еще, и все было круто.

Девочка, можно сказать, обрадовалась, когда я появился у нее во второй раз, и мы чувствовали себя почти друзьями.

Но однажды, когда мы с Джосо приехали в Бангкалан, и я попросился к Дане, она была занята. То есть, кто-то был в это время на ней.

Странное дело, ты все об этом знаешь и сам приходишь за тем же, что и все остальные, и все, кто ходит к ней трахаться, конечно, существуют, но как бы вне времени и пространства. Но когда кто-то оказался у нее именно тогда, когда ее захотел я — меня это шокировало.

И даже отбило охоту трахаться. Но я был с Джосо, отказываться было неудобно, и я пошел к другой.

Может, потому, что Котени была чуть старше и с более грубыми чертами лица, да и вообще немного больше по размерам, она показалась мне проще и примитивней. С ней я почти не разговаривал.

Мавр сделал свое дело, мавр может уйти!

Все хорошо, но только словно ты пописал, чтоб от этого на душе, как говорится, стало легче.

А с Дане у меня появилось что-то похожее на «отношения», была в ней душа, интуитивная тонкость и, вдобавок, я ей, наверное, нравился. С ней мне было хорошо и, если можно назвать минуты сексуального наслаждения счастьем, то оно тогда было со мной.

В одно из последних моих посещений она уложила меня голого на кровать и несколько мгновений смотрела на меня, уже готового к делу, а затем сама легла на меня, глядя мою грудь, а потом, привстав надо мной на коленях, ввела мой прут в себя, медленно с некоторым напряжением садясь на него.

И это снова было со мной впервые, я впервые смотрел на голую женщину, которая занималась со мной сексом и сама хотела, чтобы я видел ее всю, хотела кончить именно со мной — хотя проститутки стараются не кончать с клиентами — потому что я ей явно нравился.

А я, хоть и охваченный экстатическим возбуждением, пристально вглядывался в кольхания ее маленьких грудей, в смуглый цвет ее кожи, который стал мне привычным и близким, в ее закрытые глаза с тонко выщипанными бровями, в выпуклые губы, что начали кривиться от удовольствия, и потом уже в полуоткрытый рот, из которого прекрасной формы белые зубы выступили в миг, когда ее проняло и она, не таясь, кончала вместе со мной, а я теперь, как в калейдоскопе, что-то видел лишь в отдельные мгновения, потому что сам кричал и был от наслаждения.

Потом несколько минут мы лежали рядом, она обняла меня и не отпускала. Меня пронзило странное чувство. Это была проститутка из борделя, каждый день ее трахали разные чуваки. Откуда же у меня к ней это чувство, пусть его еще и нельзя назвать чувством, так, зародыш чувства — из благодарности за удовольствие или от любования ею, красивой и приятной, или из-за экзотики и опасности? Не знаю. Меня самого это удивляло, но я хотел увидеть ее еще. Именно ее.

Я был с ней еще только один раз. А потом меня выслали.

Времени с Дане я проводил очень мало, но именно тогда оно становилось мягким и текучим, как на известной картине Дали, о которой я тогда не имел ни малейшего представления. И чувство, что время может менять свою форму и содержание, перерачивало все мои представления о реальности.

Временем было каждое мое первое проникновение во влагу лица Дане, еще без дальнейших движений, и каждый раз я забывал о себе самом. И время останавливалось и становилось похожим на котенка, или на серебристый шар, или на лодку в море.

То же самое я порой чувствовал, вглядываясь в одиночестве в ночное небо с невероятно красной луной и густыми огромными звездами, совсем не такими, как в наших краях.

Я отыскивал Южный Крест и всматривался в него, и время меняло свое обличье, и я уже там, в просторе, и время светило мне, как заря или ангел, обнимало мои плечи или пролетало надо мной сверкающим улыбчивым драконом.

Время в тропиках завораживало меня своей инаковостью. Тропическое время стало для меня наркотиком, который я поглощал, не желая ничего другого — только этот широкий горизонт, только этот калейдоскоп грез и видений.

Однажды меня вызвали к начальству и сообщили, что нас отправляют домой, а меня, как нарушителя воинской дисциплины, в первую очередь.

И тут я опять встретил своего давнего друга Суфи. У него была проблема, о которой уже знали все. Он заработал триппер и теперь лечился.

Мои знания о венерических болезнях были в ту пору значительно скромнее, чем у моих приятелей индонезийцев. Венерическая болезнь пугала меня.

При встрече Суфи бросился ко мне с объятиями и первое, что он сказал — что это не заразно, что он лечится, еще две недели и все пройдет.

Но на нем уже было клеймо, и я, не зная, что к чему, уже сторонился его, хоть и любил его по-прежнему больше, чем остальных своих индонезийских друзей.

Ему подарила триппер наша общая любовница Маро.

Он рассказал, немного нервничая:

— Меня отыскали сами доктора. Я еще ничего не почувствовал, а на базу уже позвонили и спросили, не был ли я у нее. Меня отправили сюда, и теперь я должен две недели воздерживаться от половых контактов и колоться пенициллином.

Он похудел, слегка осунулся, но в его глазах светилась наша дружба.

Я оставил ему все, что, на мой взгляд, не пропустила бы советская таможня. (Потом оказалось, что таможня нас вообще не проверяла).

Мы проговорили с ним до самой ночи и я навсегда запомнил печаль в его рысьих глазах, печаль обо мне, о том, что мы должны расстаться навсегда, хоть он мой брат и друг.

На следующее утро я уехал на машине в Джакарту. Сердце мое сжалось от боли, когда меня вышли проводить все индонезийские слуги и военные.

И Суфи стоял и плакал, и я тоже плакал.

Мы расстались навсегда.

Почти месяц я ждал самолет в Джакарте, там тоже случались приключения, хоть я и стал уже изгоем, проклятым, высланным, и наши общались со мной, как с опасным диссидентом. А мне теперь было все равно, и я в одиночку гулял по Джакарте. Но это была агония.

Душа моя осталась в Сурабае.

Время в тропиках густое и горизонтальное, как океан или рисовые поля, ты не замечаешь его, перестаешь замечать очень быстро, потому что дни похожи, время словно остановилось и не меняется, как на сломанных часах.

Так у Беккета в «Ожидании Годо» на вопрос «который час?» следует ответ «тот же, что и всегда». Может, поэтому индонезийцы и выглядят так молодо. Вокруг них, за исключением сезона дождей, ничего не меняется. Никто не считает дней и лет. Замечают только, что человек постарел или ребенок вырос. Они и к сексу относятся так же естественно-наивно. Хочется — значит, можно. Это природа. Надо, правда, зарабатывать на жизнь. Поэтому днем они тяжело работают, а ночь предназначена для сексуальных утех — небогатых, но которые щедро дарит природа.

Я ощутил на себе это течение тропического времени, его неизменную горизонтальность и неуловимость, оно словно растекается и исчезает в просторах тропического неба.

Когда я вернулся домой, на Украину, мне показалось, что эти восемь месяцев я проспал.

Дома все двигалось, менялось, за этот срок все успели что-то сделать, друзья добились чего-то нового, а я, как ирвинговский Рип Ван Винкль, проспал это время, будто его и не было.

Но это был прекрасный, цветной, чудесный сон.

Мне и сегодня то и дело чудится густая яванская ночь, влажная и таинственная, пронизанная обещаниями невероятных приключений, дурманящий запах кокосового масла, на котором жарят на базарах куски баранины и рисовые блинчики, щекощущие ноздри запахи сигарет с гвоздикой, мандаринов и папай, манго, рамбутанов, джамбу, кокосов и бананов, ароматических палочек, местных парфюмерных масел. И все это манит, зовет, сулит раскрыть тайну, к которой я только прикоснулся, и желанная волной нарастает внутри меня.

Это — как первая любовь, как первая женщина.

«Сампай бертему лаги!» — говорят индонезийцы. «До свидания!» — говорю я, понимая, что, скорее всего, это расставание навсегда.

Но кто знает?

На все воля Неба.

(2005)

Сокращенный перевод с украинского

РЕЦЕНЗИОННЫЙ ЗАЛ

Смеяться и любить

В своей заметке «Точильщик прозы Юрий Нечипоренко» («Последняя среда», №1, 2012) я писал об отозвавшейся в его книге «Начальник связи» языковой традиции, идущей от Ларисы Рейснер и Тынянова, Всеволода Иванова и Катаева, Гайдара и Житкова. Читая же новую книгу Юрия «Смеяться и свистеть»¹ (в нее вошли и некоторые рассказы из «Начальника связи»), вспомнил я еще одного знаменитого писателя — Льва Кассиля и его «Конduit и Швамбранию». Я прочел Кассиля, когда и положено, то есть в детстве. Поэтому больше всего нравились мне в книге описание вымышленной страны, в которую играли герои. Я с нетерпением пробегал глазами страницы, рассказывающие о дореволюционной и послереволюционной волжской слободе в ожидании, когда уже будет про Швамбранию. Теперь я понимаю, что главное в книге Кассиля — это как раз то, как герои жили, а не во что они играли. Вот так же и при чтении книги «Смеяться и свистеть» следишь за рассыпанными в ней метафорами. Вот самое начало: «Верба. Она возносится над двором, как зеленый фонтан». И тут же: «Двор огромный, как материк, ограниченный неровной линией заборов, сараев, гаражей. Они теснятся по краям двора, выступают, отступают — так меняет свои очертания полоса прибора». Или вот опять про кромку моря уже почти в конце книги: «Песок лоснился, золотился, оживал и дышал, как лошадиный бок». Или вот «маленький зеленый самолетик, похожий на кузнечика, он застрекотал, задрезжал, побежал, раскачался, подпрыгнул и полетел». Или «к вечеру всюду набирается тень, как вода в ванну напускается».

Но замечаешь и жизнь, о которой рассказывает Юрий Нечипоренко. И тут снова сравнение с Львом Кассилем. Кассиль, описывая послереволюционную Россию, смотрит на нее глазами мальчика, воспитанного в дореволюционной интеллигентной семье. Новая жизнь во многом не похожа на прежнюю, об нее разбиваются многие прежние идеалы. Но Кассиль хочет ее принять. Хотя бы потому, что другой у него нет. Но принятие это вполне искреннее, иначе не получилась бы талантливая книга.

¹ Ю.Нечипоренко. Смеяться и свистеть. Рассказы. М., Жук, 2012

Вот и Юрий Нечипоренко всматривается в прошлую советскую жизнь. Всматривается с другой стороны — из нашего времени. И, несмотря на все трудности и нелепости советского периода, оказывается, что много тогда было добрых, талантливых людей, которые жили полной жизнью. (Оказывается, советский период вполне это позволял). Людей, которые и помогли герою, и вырастили, и выучили. Ну, так вот у него совпало, что детство, юность, университет пришлось на советскую эпоху. Поэтому смотрит он на нее с любовью. Чтобы было понятней, о чем я говорю, выгляни из своего окна, любезный читатель. Тебе все там нравится? Думаю, нет. А любишь или ненавидишь ты то, что видишь? Если ненавидишь, то мне тебя жаль.

И еще об одном моем впечатлении от рассказа «Благовещенск. Амур». Читая его, вспомнил я начало «Конармии» Бабеля. Возможно, я ставлю Юрия Нечипоренко в неловкое положение. В самом деле, хорошо это или плохо для современного писателя, когда находят какие-то аналогии между ним и классиком? Ведь могут сказать: «Ну, какая ерунда. Ничего общего» или «Ну, конечно, все содрал в меру, так сказать, своего таланта». Я думаю, хороший писатель выдержит такое сравнение. Пишет он о своем, а другим прозаикам можно пожелать, чтобы их произведения тоже заставили вспомнить Бабеля, или Булгакова, или, страшно сказать, Платонова.

Конечно, эти ассоциации вызвала у меня река. Но мало ли рек описано в русской литературе? Нет, тут еще и что-то другое. Нерв что ли какой-то... В общем, вот тебе, читатель, два фрагмента. Спорь, соглашайся или считай меня дураком. Твое право.

1)

Солнце отяжелело и налилось кровью, мы зашли в летний сад, в парк отдыха — туда, откуда звучал фокстрот и где собирались летние пары со всего города, чтобы прижаться друг к другу на людном пятачке и переминаясь, потолкаться под звуки музыки.

Свесив ноги вниз, к воде, я сел на парапет — и вдруг услышал, как далеко и жутко, скорбно и протяжно завывали собаки. Звук доносился из-за реки, с китайской стороны. Почему так много собак там собралось, и чего это они вдруг все хором воют? А может, это не собаки — а демоны, оборотни оглашают свои заклинания? И тут я явственно начал различать человеческие голоса: огромный, многотысячный хор пел неведомую песню,

позвякивали колокольчики, и звуки все нарастали. Казалось, все больше людей подхватывало песню — и вот уже всюду загремел уверенный хор, запел самозабвенно и сильно — словно начался неистовый молебен.

Мне показалось, что звуки эти доносятся из глотки дракона, который свивал свое тело кольцами в небе — и опять распрямлял. Ветер продувал воздух через его мощные легкие: он пел и летел, летел и пел, а собаки бежали за ним по земле и брехали. На земле собирались тучи людей с колокольчиками и бубенцами — все, — и махали руками и флагами, гнали небесного змея...

Ветер дунул со стороны Парка Отдыха — и звуки смешались, слились вместе: древний китайский ор и игривый фокстрот, под который в рваном ритме переставляли ноги городские красотки и гарнизонные офицеры.

2)

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Вольнь изгибается, Вольнь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спине уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

А.П.

Приложение

Юрий НЕЧИПОРЕНКО

Благовещенск, Амур

Что за город с таким чудесным названием — Благо-вещенск?

Где он спрятался, как это он смог скрыться, остаться незамеченным: его не переименовали ни в Новый Быт, ни в Красный Луч? Прилепился на границе, схоронился на берегу Амура-реки, на самой кромке империи городок с ангельским именем.

Пограничные города по-особенному тихи, они тихи громадной тишиной просторов страны. Это в центре все кричат наперебой, а пограничному городу какое дело? Каков во все времена закон? Стоять крепко да не пущать, кого не велено — вот и стоит тихо, как часовой, молчит Благовещенск.

Мы прилетели в этот город на рассвете, не зная географии. Где тут граница? Кто делит с нами эти сопки: Монголия, или Китай? Идем по солнечной стороне улицы — навстречу ни одного человека, город как будто вымер, приходится руководствоваться наитием: двинемся в сторону центра. Интересно, где пресловутая граница, за каким углом откроется следовая полоса, вышка, овчарки, колючая проволока, а за ними — китайский дух, оборотень, демон — в общем, что-то бесконечно экзотичное. Может быть, мы во власти восточных чар — и не замечаем, что нарушили границу и уже попали в плен, что сейчас нас будут пытаться?

Навстречу попадаете живая душа — девочка в школьной форме с красным галстуком, пятиклассница с портфелем и в очках — типичная отличница. Уж она-то точно должна все знать! И как можно более вкрадчиво и ласково мы обращаемся к ней:

— Девочка-девочка, скажи нам, пожалуйста, где у вас здесь находится Китай?

Она в ужасе отшатывается, как Красная шапочка, потерпевшая уже от волков — верно, принимает нас за шпионов-диверсантов, которые хотят перейти границу...

Разворачивается и убегает, геройски сгибаясь под тяжестью портфеля: его нельзя оставить врагу, как оставил свою люльку Тарас Бульба.

Верно, мы что-то не то спросили. Кто нам может помочь в этом мире, разрезанном в клочья границами? Нас могут арестовать и посадить в кутузку, начать допрос с пристрастием: зачем нам понадобился Китай, что мы делали летним вечером на границе, как проникли в запретную зону и почему двигались в сторону укрепленного района, зачем задавали вопросы девочке, что выведывали?

Виной всему география — плохо мы ее учили в школе... Но в этот раз, слава Богу, пронесло — не сажали нас в кутузку, не устраивали перекрестного допроса: удалось без потерь проскочить весь тихий городок и выйти к набережной.

Река! Да, река, мне отец рассказывал, я вспомнил, что здесь есть река, называется Амур!

Амур, Амур! — мы бегали по набережной и смеялись. Студенты, поехавшие в стройотряд на Дальний Восток, по крохам сложили свои знания и вспомнили, что именно за этой быстрой и грозной рекой находится Китай: братский и опасный, древний и революционный, в общем, самый-самый Китай. Мы все глаза проглядели до дыр — но не заметили на той стороне никакого шевеления жизни: там вдоль реки через пустынные холмы тянулась такая же скучная проселочная дорога, которую можно увидеть у любой нашей деревеньки. Не стоило лететь так далеко, чтобы лицезреть эти жухлые кустики, рыжую траву и каменную дорогу. Китай не хотел открывать нам своих тайн.

Солнце отяжелело и налилось кровью, мы зашли в летний сад, в парк отдыха — туда, откуда звучал фокстрот и где собирались летние пары со всего города, чтобы прижаться друг к другу на людном пятачке и переминаясь, потолкаться под звуки музыки. Тут же рядом показывали мультфильмы для детишек, растянув полотно экрана между деревьями и вертя кассеты в стрекочущем аппарате, а какие-то любители культурного отдыха резались в шахматы и домино...

Я вышел к реке, тому самому Амуру, который должен был означать на европейских языках слово «любовь». Что означает здесь эта река цвета стали, разделяющая две великие империи? По Амуру с дымком над трубой и светящимся окошком рубки чухал пограничный катерок.

Свесив ноги вниз, к воде, я сел на парапет — и вдруг услышал, как далеко и жутко, скорбно и протяжно завывали собаки. Звуки

доносились из-за реки, с китайской стороны. Почему так много собак там собралось, и чего это они вдруг все хором воют? А может, это не собаки — а демоны, оборотни оглашают свои заклинания? И тут я явственно начал различать человеческие голоса: огромный, многотысячный хор пел неведомую песню, позвякивали колокольчики, и звуки все нарастали. Казалось, все больше людей подхватывало песню — и вот уже всюду загремел уверенный хор, запел самозабвенно и сильно — словно начался неистовый молебен.

Мне показалось, что звуки эти доносятся из глотки дракона, который свивал свое тело кольцами в небе — и опять распрямлял. Ветер продувал воздух через его мощные легкие: он пел и летел, летел и пел, а собаки бежали за ним по земле и брехали. На земле собирались тучи людей с колокольчиками и бубенцами — все, — и махали руками и флагами, гнали небесного змея...

Это я увидел в крошечной тьме, тараща глаза: змей играл турами кольцами, тяжело и низко летел, — и тысячи огоньков от фонариков пугали, дразнили его, не давали ему опуститься, присесть. Его оперение переливалась, как зарево далекого города.

Ветер дунул со стороны Парка Отдыха — и звуки смешались, слились вместе: древний китайский ор и игривый фокстрот, под который в рваном ритме переставляли ноги городские красотки и гарнизонные офицеры.

Какое противостояние, какое соединение двух культур — древнего Востока и молодежавого Запада! Что думают о нас китайцы, слушающие игривые вальсы и фокстроты, которые выдувает из своих труб гарнизонный духовой оркестр!

Две мелодии, два духа сцепились в черном небе и закрыли звезды своими массивными тушами. Загремел гром, начал накрапывать дождик. Замолк оркестр, разбежались легконогие пары из летнего парка, и только так же неуклюже, тяжело продолжал летать дракон над китайской стороной, пуская из ноздрей пламя. Восточный демон парил у реки под названием «Любовь», а я чувствовал пятками пар, который поднимался от реки — и думал про девушку, которая осталась далеко... В таком же маленьком городке, как этот, глубоко внутри страны, что лежала по левую руку от реки под названием Любовь, и про свои с ней встречи в летнем парке, про географию, литературу и язык.

Последняя среда

Фамилия была у нее такая же, как у жены Пушкина — Гончарова, и она была так же прекрасна.

В этом месте, у Благовещенска, две горячие державы остужали воды Амура. В небе носились китайские демоны, а в парке обнимались беззаботные парочки.

ПЕСТРАЯ ЛЕНТА

Андрей Пустогаров

Из цикла «Аппендицит»

Мозаика

По подножью холма протянулась деревня — Татарово. Наверху стояла церковь. С холма видны были пойма, Москва-река, в солнечную погоду вдалеке блестел куполом Иван Великий. К Москве-реке, подрезая холм, шел крутой овраг с ручьем на дне.

В 41-м церковь закрыли, а колокольню взорвали, чтобы немецкие летчики, заходя с запада на Москву, не использовали ее в качестве ориентира. Сама деревня дожила до Олимпиады, сделавшись уже частью города. Рядом строили велотрек, гребной канал и деревню снесли. Вокруг оврага по холмам пустили асфальтированную велодорогу. Остались яблоневые сады и полуразрушенная заколоченная церковь из красного кирпича. Еще лет через пять за дальним от реки краем оврага построили жилой район. По пустующей велодороге стали гулять с детьми и собаками.

Отчего-то лучше всего их было видно зимой, когда свод над папертью под уцелевшим этажом колокольни покрывался изморозью. Белый прозрачный налет словно проявлял выставшие потолок остатки мозаики. Две ангельских головы с глядящими на тебя ликами почти соприкасались макушками по обе стороны от верхней точки свода. От них расходились вниз — перышко к перышку — фантастические радужные крылья. Делали мозаику ученики Васнецова.

Прошло еще лет десять, и здание вернули церкви. Постепенно надстроили колокольню, возвели купола. Свод над папертью сначала зашили досками, а теперь на них роспись; такая же, как и по всему храму.

В церкви я захожу не часто, но, если что, знаю — здесь, под досками с грубоватой росписью, спрятаны два изумительной красоты ангела.

Электрик

У одной моей знакомой — назовем ее Мариной, потому что так ее и зовут — брат работал в гостинице «Москва».

В советское время это была должность с большими связями, поэтому Марина пользовалась в своем кругу заслуженным уважением.

Но время шло, и в один прекрасный день гостиницу «Москва» стали сносить. Знакомые тут же ехидно поинтересовались у Марины:

— Ну, и где теперь работает твой брат?!

— В гостинице «Москва», — ответила Марина.

— Так ее ж сносят...

— В нижних этажах осталась электропроводка, которой пользуются рабочие. Мой брат следит за ее исправностью.

Число этажей гостиницы все сокращалось, но Марина по-прежнему отвечала на все расспросы знакомых:

— В гостинице «Москва».

Но вот на месте гостиницы осталось ровное место.

И дождавшиеся своего часа знакомые опять подступили к Марине:

— Ну, и где теперь работает твой брат?!

— В гостинице «Москва».

— ???!!!

Оказалось, что в гостинице «Москва» было несколько подземных этажей, которые решили сохранить при реконструкции.

В этих этажах оставалась электропроводка. Ну, вы понимаете...

Сейчас в новом здании гостиницы «Москва» уже идут отделочные работы, и брат Марины работает в ней электриком.

Хорошо, что в мире хоть что-то остается неизменным.

Память

Однажды моя мама вместе со своей подругой ездила во Львов. Когда-то они учились в одной группе во Львовском университете, и вот их пригласили отпраздновать тридцатилетие выпуска.

Во Львове все прошло замечательно, и теперь они возвращались на поезде в Москву.

— А с кем это ты вчера весь вечер танцевала? — поинтересовалась у подруги моя мама.

— Так это парень с параллельного потока, — подруга назвала имя. — Не помнишь?

— Нет, — ответила мама.

— Там была еще какая-то история у него на свадьбе.

— Какая история? — спросила мама.

— Невеста приревновала его к какой-то девушке среди гостей.

Был ужасный скандал.

Они проехали еще какое-то время, и тут мамина подруга вдруг расхохоталась. (Стоило бы написать «хлопнула себя по лбу и расхохоталась», но я не знаю, хлопала ли она себя по лбу. Напишу просто: «расхохоталась»).

— А ведь это я была этой девушкой! — выговорила она. — Я была этой девушкой...

И они принялись хохотать вдвоем

Памятник Ленину

Ольга Ильницкая как-то рассказала мне такую историю о своей знакомой из Одессы по имени Ольга. Ольга эта работала в Одесском историческом музее и славилась крайней отвязностью. Времена были советские. И вот однажды в исторический музей прибывает запыхавшийся председатель близлежащего колхоза и с восклицаниями «Спасите!» стремится в кабинет директора. На вопрос «В чем дело?» отвечает: «Спасите! У меня в селе поставили памятник Ленину!»

— Так это же замечательно, — осторожно отвечает директор.

— Так его же местный мужик сам поставил, — объясняет председатель.

— Так хорошо — знак народной любви к Ленину, — уже менее уверенно говорит директор.

— Не видели вы этот памятник, — обреченно выдыхает председатель.

— А музей тут при чем? — находится директор.

— Так вы же по памятникам...

Вопрос оказался непростой. Конечно, строить без разрешения памятники было нельзя. Но и снести без разрешения-постановления воздвигнутый уже памятник тоже было нельзя. Возникла проблема — «Снести памятник Ленину, воздвигнутый самим народом? Да вы что?!». А с другой стороны — любой, видевший это сооружение, неумолимо начинал корчиться от смеха. Председатель даже боялся обращаться по такому поводу

в райком. Поэтому и пришел в музей. Все же он был не так глуп, этот председатель.

Осторожный директор музея решил отправить для ознакомления с ситуацией изрядно достававшую его своими выходками Ольгу. Ольга легко согласилась, и они с председателем покатали на «газике» в колхоз.

Памятник, действительно, производил сильное впечатление. Черты Ленина угадывались сразу. Но вот к какому разряду приматов следовало анатомически отнести фигуру на постаменте — тут все было уже не так очевидно. Кроме того скульптор в душевном порыве украсил гипсовую фигуру лучшим из того, что у него было — осколками зеркал, бутылочного стекла, сигаретным «золотцем»...

Ольга, как я уже говорил, была девушка заводная:

— А давайте снесем его к чертям собачьим!

— Да как же...

— Если выхлопочите мне у директора музея пару отгулов — беру на себя.

— О чем речь... — еще не веря своему счастью, бормотал председатель.

Ольга купила в сельпо поллитру и отправилась к местному бульдозеристу.

— А что, Вася, — ласково спросила она, — снесешь за поллитру Ленина? Председатель еще и премию выпишет.

— Сядешь на колени — снесу, — не моргнув глазом ответил бульдозерист.

Они забрались в кабину. Ольга села к бульдозеристу на колени, он взялся за рычаги.

Сложная проблема за пару минут развеялась в пыль. Памятник без следа исчез в самой толще народной жизни, из которой днем раньше и появился. Винить кого-то за это было все равно, что винить порыв ветра, по недосмотру разрушивший карточный домик.

Счастливым председателем едва ли не на руках внес Ольгу в кабинет директора музея.

Директор саркастически окинул взглядом героиню. Как оказалось, он тоже был не так глуп.

Свобода

Часть отелей отремонтировали, а часть стояла в руинах. В асфальте у нашего было несколько неглубоких выемок — похоже, от артиллерийских осколков. В баллистике я разбираюсь плохо, но дыры от снарядов в стенах и балконных оградах наталкивали на мысль, что били прямой наводкой с моря. Во время автобусной экскурсии я уточнил это у девушки-экскурсовода: «Сербы били с кораблей, — ответила девушка. — Под угрозой уничтожения всех туристических объектов хотели заставить нас отказаться от независимости, — объяснила она примерно в этих выражениях. — Зато потом Евросоюз дал нам денег на восстановление».

Однако часть отелей по-прежнему стояла в руинах. Один, особенно большой — серый, бетонный, многоэтажный, был окружен буковой рощей. Я прошагал по асфальтовой дорожке мимо прятавшихся в зарослях бетонных беседок и вошел в полуразрушенный вестибюль. В полутьме — снаружи стоял яркий день — наверх вела заваленная мусором и обломками широкая лестница. Опасаясь обрушения, я поднялся на второй этаж. Шедшее в глубину большое помещение раньше служило, по-видимому, рестораном. Пол был усыпан грудями бумажных листов, в основном формата А-4. Часть из них обуглилась — в здании был пожар. Я поднял и, сложив, сунул в карман один из уцелевших. Вернувшись в свой отель, разглядел его повнимательней. Это был счет. Наверное, человек получил его в баре. Он заплатил за пачку сигарет и банку колы. На счете были дата и время. Потом я проверил — в этот день начался вооруженный конфликт, и корабли открыли огонь.

Чуть в стороне от разрушенного отеля, посреди уходящей от моря узкой долины стояло заколоченное курортное здание в стиле балканского модерна начала двадцатого века. Во времена королевства Югославия здесь был модный курорт. При Тито все отели на этом берегу были битком набиты туристами — в основном жителями Югославии. Теперь, когда число отелей сократилось, по крайней мере, вполовину, куда делись заполнявшие их каждым летом люди? Часть приезжает сюда же, часть ездит в Турцию, Египет, Грецию, Испанию. Часть теперь не ездит никуда.

«Зато теперь вы свободны», — скажут им.

«Зато теперь мы свободны», — скажут они сами.

«Свобода приходит гагая, бросая на сердце цветы», — написал

Последняя среда

один русский поэт году этак в семнадцатом (наверняка уже стоит добавить — прошлого века).

Теперь свобода чаще всего приходит, бросая бомбы. И после ее прихода многие остаются голыми.

Хлебникову лет через восемь ответил Пастернак: «История не в том, что мы носили, \\ а в том, как нас пускали нагишом».

Эта история — или свобода? — может в любой момент постучать в твою дверь.

И освободить тебя от твоей колы и твоих сигарет.

А также от летнего моря и свиданий в спрятавшихся среди густого подлеска беседках.

Ведь, как говорил один философ, история ведет человека к полному освобождению.

А настоящую свободу может дать только смерть.

AMARCORD

Рубрика названа по известному фильму Федерико Феллини. Слово означает произнесенное на диалекте «я помню», кроме того, в нем содержатся корни слов «любовь», «горький», «нить».

Мы публикуем два текста Игоря Клеха, написанные с промежутком в 20 лет.

Игорь Клех

АКСИНИН КАК КУЛЬТУРНЫЙ ВРАГ

Несомненный и окончательный способ похоронить художника — это говорить о нем только хорошее.

Нет жанра подлее предисловия. Хуже только каталоги, задуманые как маленькие типовые мавзолеи.

«Если хотите жить — давайте враждовать» — так следует поставить проблему, отдавая себе отчет в исключительной мере ответственности за сказанное.

Когда читаешь Платонова — Набокова нет и не может быть, он не существует, для него просто нет места, иначе Платонов лжет, — и наоборот.

Но, к счастью, вражда в культуре и вражда в жизни — абсолютно разные вещи, субстанционально разные.

Мир культуры состоит как бы из более тонких атомов, в нем нет абсолютных смертей и окончательных потерь, — но, напротив, какое-то мутное приближение к жизни вечной, к замыслу природы, — вечный уход и вечное возвращение, выход на стремнину, уход под воду и опять выныривание в труднопредсказуемом месте в труднопредсказуемый момент. И самое потрясающее, что происходит это не с биомассой по законам среднеарифметическим, а в формах персональных и по законам загадочным, которые не укладываются в наши однокомнатные души и умы. Законы — нет, а люди — да. И я сам знаю нескольких читателей-многоборцев, которые любят Набокова и Платонова одновременно, равносильно и верно. Любить всех — есть блуд, подсказка отъявленного рационалиста Сатаны, любить каждого... своими силами для человека непосильно. Действие культуры, живой ее части, разворачивается где-то посередине, но

всегда чуть вверху и впереди, в некоторой области, парадоксальной во всех отношениях. И хватит об этом.

Провинция в силу бедности привыкла смазывать разнокачественность величин. Люди в ней живут как бы не всерьез, не принципиально.

Поэтому и занимает меня Аксинин как Культурный Враг.

В том, что это достаточно крупный и последовательный художник, не сомневается никто, но речь пойдет о соблазне его творчества, о некоторых его духовно опасных чертах. И, к сожалению, возможность такого подхода санкционировал он сам, поверив в явленность смыслов, возжаждав быть не столько художником, сколько послушником и учителем, аналитиком и прорицателем, возжаждав точно знать и владеть такими вещами, которых точно знать и овладеть которыми нельзя, и не обращение, а общение с которыми требует исключительной искренности, чуткости и такта.

Надо сказать, что это была общая болезнь 70-х, высшая нота, взятая и «официальной» и «неофициальной» культурой тех лет. То были поиски смысла преисподней, онтологической обесценности пребывания в историческом обвале. Ключевое слово той эпохи — «вечность».

Или так еще: Человек в поисках смысла.

В Москве стали догадываться, что это не «высокая» болезнь, еще в конце 70-х, но, Боже, каким позорным финалом, какой дешевой распродажей Логоса разрешилось это заболевание еще через десять лет, т.е. уже в следующую эпоху.

Гессе, Булгаков, Тарковские — какой великолепный шифр, пароль, — и какой эзотерический разврат развился на этой почве, какое рукоделие и эклектика, какие гляделки до обморока — как субститут созерцания; какое невиданное словоблудие. Вот один из истоков немоты, поразившей вскоре — на фоне разнообразнейшего треска пустоты — русскую культуру.

Аксинин, в чьей фамилии щиплет язык отдаленный аскорбиновый привкус безотцовщины, поднял имя Александр (а все, кто читал Павла Флоренского, знают, к чему оно обязывает) и, соорудив из двух «А» песочные часы отмеренного себе времени, поехал в Москву, чтобы видеть Шварцмана, и в тогдашнюю графическую столицу — Таллин, чтобы разговаривать с Тынисом Винтом. Винт прохаживался по своей черно-белой квартире под взошедшим на стене знаком для медитаций — как семиотический повар из чаньской легенды — и ребром ладони намечал:

низ-верх, инь-ян, жена-муж, симметрия-асимметрия, — после чего с криком «Х-хак!» наносил один удар, и анализируемый объект распадался на части, готовые к употреблению.

В каждой эпохе есть своя красота.

От Свифта, Кафки, Кэрролла к расшифровке книги #1 той эпохи — «И Цзин» — такова логика анализа Аксинина. Линия аналитична. Тот же проводник: есть ток, нету тока. Аксинин как художник замкнутых фигур все прогрессирует, работы его становились все лаконичнее, точнее, сильнее; штриховка все гуще.

Мир расплодился, он же скреплял его своими офортами.

Так, сидя в закутке, в бабушкиной кофте, штопают чулок на лампочке.

Он много работал.

А если вам снится сон о работе — надо продолжать это дело. Это значит, что пробуждение близко.

Пока не был послан ему будильник такой страшной силы, что проспать он уже не мог.

(1991)

** Александр Аксинин (1949–1985) — львовский художник, погибший в авиакатастрофе (прим. автора)*

Между Эшером и Борхесом

В октябре 2010-го в ГЦСИ на Зоологической экспонировалась выставка работ погибшего в авиакатастрофе львовского графика Александра Аксинина (1949–1985), уже третья по счету в Москве. При жизни он имел персональные выставки только в Польше, Прибалтике и «квартирные» в Ленинграде. За впечатляющий перфекционизм трудоемких офортов художника называли «львовским Дюрером» и «немцем», тогда как его искусство вполне отвечало духу места и времени и должно рассматриваться в их контексте. Закончивший львовский Полиграфический институт им. Ив. Федорова, Аксинин был художником-книжником, но отнюдь не иллюстратором. Чтение было первой по времени его главной страстью — и второй по значению после собственного творчества, стремительно развивавшегося с середины 1970-х годов. 340 офортов за десять отпущенных судьбой лет, и примерно столько же стильных экслибрисов, замысловатых акварельных

чертежей, проектов рукописных книг и т.п. — редкая плодovitость и производительность. Его воодушевляли знаковые книги того вязкого позднесоветского времени, ключевыми словами которого стали «мастер», «вечность», «нетленка». Циклы его медитаций на темы произведений Свифта, Кафки, Кэррола, китайской «Книги Перемен (И Цзин)» можно рассматривать с 10-кратной лупой. Стилистически это ретроавангард (почти средневековая технология в сочетании с потмодернистской рефлексией), социально — андеграунд (отсюда творческое взаимопонимание с такими разными москвичами как Пригов и Шварцман, с питерцем Кривулиным, таллинцем Тынисом Винтом, польскими графиками), а идейно — эзотерика (как ни крути — «местечковые» конспирологические представления об устройстве «большого мира», универсума). Отсюда на листах его графики столько ветвящихся лабиринтов, вариантов мандалы, коробчатых перегородок и гомункулусов в ретортах, а главное — философического... дизайна женеvского часовщика. Но это и было рентгенограммой того удивительного менталитета остановившегося времени — накануне новых потрясений, когда в столицах уже набирали силу соцарт, концептуализм и проч. Сегодня Александр Аксинин освобождается из плена своего времени и места, чтобы включиться в более широкий и масштабный культурный контекст. На что, собственно, и было нацелено его творчество изначально.

(2011)

Мы публикуем заметки джазового музыканта Сергея Летова о Сергее Курехине (1954–1996), снабдив их небольшими добавлениями.

Сергей Летов

Поминальные заметки о Сергее Курехине

Мы живем и умираем в удивительное время. Акценты смещены. Почти все зыбко и неопределенно. Более того, вчерашнее близкое тебе вдруг становится далеким и непонятым окружающим. Ну, положим, критики никогда не понимали, чем мы занимаемся, но при этом честно ничего о непонятом не писали, кроме констатации фактов. К примеру, итогом одной из весьма немногочисленных статей о Курехине являлось сообщение, что в очередной «Поп-механике» принимали участие 463 человека и 1 козел. Что означали эскапады Курехина? Почему в них с радостью принимали участие не только питерские рокеры, но и такие артисты как Штоколов или Кола Бельды?

Собственно говоря, что-то написать о Курехине побудила меня встреча в московском метро. Как-то, едуци после полуночи, я сфокусировал взгляд на сидящих напротив молодых людях. Они беседовали о каких-то крайне несовременных вещах, типа Вечности или Бесконечности. Один из них вежливо спросил меня, не Алексей ли я Летов? Я уточнил свое имя. Они извинились и попросили разрешения задать вопрос — правда ли Курехин был в конце жизни фашистом? Я ответил, что «Поп-механика» давала представление в пользу кандидата от Национал-Большевистской партии на выборах в Ленинграде. Последовали другие вопросы, которых уже не помню.

Смею заметить, что для нашей критики, для журналистов и музыковедов Курехин был крайне нежелательным явлением. Сергей был чрезвычайно эрудированным человеком во многих областях. Причем он не только очень хорошо знал современную музыку, но и философию, и культурологию. Казалось бы, зачем читать популярному модному музыканту Густава Шпета или (выменивать в советское время) книжки британской школы философии языка. Во времена создания «Популярной механики» (название принадлежит Ефиму Семеновичу Барбану — по названию книжек научно-популярной серии Ферсмана) и даже чуть раньше, во времена «Crazy Music Orchestra» Сергея привлекали французские структуралисты.

Как раз здесь и таится загадка феномена «Популярной механики», которая не была только музыкальным представлением. Не была она вместе с тем и стилем жизни, как, например, питерский рок или сибирский пост-панк или московский андеграунд.

Что это было? Для участников — праздник! Грандиозная многоуровневая, мультикодовая компиляция, слепленная по-советски, то есть импровизационно, с энтузиазмом и весьма неформально. До конца 90-х музыканты выступали практически бесплатно. Впрочем, об участниках — после.

Недавно я наткнулся книжку Тома Вулфа «Электропрохладительный кислотный тест», перевод которой посвящен Сергею Курехину и Сергею Хренову (замечу, что последний был в первой половине 80-х наряду с Александром Каном одним из главных организаторов Новой Импровизационной Музыки в Питере). Да, внешне акции Курехина похожи на «приколы» Веселых Проказников Кена Кизи. Я сначала подумал, не повлияла ли книжка Вулфа и деятельность Кизи на акции Сергея Курехина? Вряд ли — недостаточно знал Курехин английский. Сходство это — чисто внешнее. В деятельности Курехина было много игры, и совсем не было ни борьбы, ни квази-религиозного пафоса. Я, по крайней мере, что-то подобное помню лишь однажды. Мы записывали дуэтом (синтезатор «Prophet» + бас-кларнет) музыку к фильму Саввы Кулиша «Трагедия в стиле рок», эпизод с коммунальной наркоманов. Фильм, камера их как бы осуждала, но вопреки этому Курехин удивительным образом смог создать ощущение их триумфа, несмотря на распад и гибель. Сочетание музыки и изображения не понравилось режиссеру, и в итоге в фильм вошел один из более тривиальных, конформистских последующих музыкальных дублей (изображение было закольцовано, после первого — наиболее удачного — мы сыграли подряд еще несколько раз). И в то же время музыка Курехина несводима к инфляции ценностей, как, например, вся музыка Владимира Чекакина. Чекакин постоянно пытался догнать Курехина, сымитировать его оркестр. Но неудачно. Тогда для меня, как для участника обоих проектов, разница состояла в том, что оркестр Курехина был ансамблем индивидуальностей. Каждый солист в «Механике» играл, казалось, сам себя. Софья Губайдулина как-то сказала мне, что если Стравинский оперировал интервалами, сочиняя музыку, то Шнитке так же оперирует стилями, как нотами. Курехин сочинял «Поп-Механику» из конкретных людей, со всеми особенностями их импровизационного дара и сценического и жизненного поведения. Потому это был праздник невиданной самореализации для каждого музыканта. У Чекакина же солист один — он сам.

Все остальные музыканты разного уровня сведены к роли музыкальных автоматов, от которых ничего не зависит. Сыграешь — хорошо, не сыграешь — тоже ничего страшного. Если художественный нигилизм Чекакина скрашивался его виртуозной игрой на саксофоне (надо признать: в довольно-таки старорежимной манере), то инструментальная роль Курехина в «Поп-мехах» была невелика. Он никогда не играл соло в кульминационных моментах, а во многих концертах вообще не играл, а только дирижировал и руководил музыкантами и актерами, исполняя прыжки, летая по воздуху и т.п. «Поп-мех» несомненно принадлежал к карнавальной культуре, но не с инверсией оппозиций, а с их переводом в многомерное неевклидово пространство. Большой торжественный концерт, посвященный Дню милиции, в котором «Соловей» Алябьева исполняется одновременно с выступлением ансамбля песни и пляски КГБ, а Кола Бельды поет «Увезу тебя я в тундру» в сопровождении группы «Кино», пионеры-горнисты отдают салют гигантской раскрашенной пенопластовой «Венере Милосской», Тимур Новиков и Африка представляют «традиционную русскую забаву — битву динозавра со змеей». Мало-помалу хаотические тенденции усиливаются — и вот стадион, затаив дыхание, слушает фри-джазовое духовое трио (думаю, случай в мировой практике беспрецедентный), но в конце концов все — духовой оркестр моряков, камерный симфонический и народный (балалайки и т.п.) в сопровождении дюжины электрогитар от монстров питерского рока — сливаются в унисоне целотонного рифа! Танец Гаркуши («Аукционъ»), бегут стада ослов и пони, мартышки едут на велосипедах!! Это еще не все: поверх рифа — рев и визг саксофона, звук, заслоняющий все!!!

Высшей точкой всего этого были концерты весной 1989 года в Ленинграде. Зарубежные же выступления показали, что европейская публика не принимает веселого безумия. Тупоумные немецкие зеленые бросились «защищать» козла в Мерсе, представленного недостаточно уважительно. Австрийцы оскорбились за недостаточно уважительное, по их мнению, отношение к фольклорному ансамблю. Запад не понял и не мог принять смещения планов реальности. Прославленная «Поп-механика» вызывала разочарование. К тому же все исполнено было довольно-таки по-советски. Почти как у московской группы «ДК». Репетиции занимали не более 3 часов перед представлением. «Искусство, приобретая стиль, превращается в товар». Курехин всегда был выше того, что он делает. По-своему он был очень гордым человеком. Весьма иронично относился он к тому, что

называли «советским джазом». Начиная с середины 80-х он уже не участвует в советских джазовых фестивалях вне Ленинграда. Да и в Ленинграде только в виде «Поп-меха». Единственные исключения на моей памяти — Пярну '87 и Таллинн '88. Очень показательно его неучастие в организованном Сюзанной Таннер фестивале советского джазового авангарда в Цюрихе в 1989.

Сергей очень остро ощущал модность стиля или человека, который предельно, на его взгляд, выражал дух времени или какую-то тенденцию. Такую «любовь» в разные годы он обращал на Бориса Гребенщикова (этот период я едва застал, я скорее тут интерполирую свое знание Сергея на историю «двух капитанов»), Булучевского (это питерский саксофонист, впоследствии продавец апельсинов на Ситном рынке), Африку, долгие всего на Юрия Каспаряна (гитарист «Кино»). Интересно, что к объектам своего внимания Сергей относился с большой долей иронии. Это была какая-то игра с элементами провокации. Курехин был очень саркастичным человеком, и не всегда эти шутки выглядели добродушными. Была в этом какая-то жестокость. Так, скорее, относится ребенок к любимой игрушке, которую может поломать, если рассердится или забросить под кровать, если она надоест. Насколько мне известно, в общечеловеческом смысле друзей у Курехина не было. Он был ориентирован всецело на свою семью и человеком был очень закрытым. Я мало общался с Сергеем в последние годы его жизни. Однако у нас были общие знакомые, из эпизодических контактов с которыми я могу сделать некоторые выводы о его последнем периоде увлечения «фашизмом». Насколько мне известно, последним увлечением Курехина был Александр Дугин, которого я бы назвал не геополитиком и консервативным революционером, а мифопоэтом. Для Курехина он привлекателен был не только по причине идеологического отрицания буржуазного миропорядка, а, скорее, ввиду его потрясающей творческой фантазии. Общение с Курехиным произвело на Дугина просто ошеломительное воздействие. Последний раз я видел Курехина в марте 1996-го — последнего года его жизни. Он попытался представить мне своего друга, я тоже стал представляться, но услышал в ответ, что мы уже знакомы: Дугина в присутствии Курехина я просто не узнал! Мне кажется, что увлечение «консервативной революцией» носило у Сергея Курехина такой же характер, как и интерес к Клоду Леви-Строссу, Мишелю Фуко, гитарной музыке Бранко или к музыке Джона Зорна.

В некотором смысле Курехин продолжает определять русскую музыкальную жизнь. Через два месяца после его смерти начался

фестиваль памяти Сергея Курехина, проведенный Николаем Дмитриевым. По существу, это были концерты новой музыки в ЦДХ. Длилось все это около 4 месяцев. В Доме Ханжонкова прошел фестиваль фильмов, музыку к которым написал Курехин, — «Страсти по Сергею», сопровождавшийся выставкой. В январе 1997 в Нью-Йорке стараниями ныне покойного Бориса Райскина был проведен «Интердисциплинарный Фестиваль памяти Сергея Курехина» — гигантский 11-дневный фестиваль, в котором приняло участие больше сотни музыкантов, поэтов и художников. Значительная часть фестиваля проходила в Мекке фри-джаза — клубе «Knitting Factory». Самое необычное в фестивале — то, что в нем принимали участие не только новоджазовые музыканты из России, США и русской диаспоры, но и музыканты академического плана. Впервые на сцене «Knitting Factory» зазвучал Шопен и Чайковский! Это вполне в духе Сергея. Вполне, судя по всему, традиционный новоджазовый фестивальчик, посвященный Курехину, прошел в Лондоне (Лео Фейгин). Как и фестиваль Н. Дмитриева он прямого отношения к Курехину, правда, не имел... Второй «Интердисциплинарный Фестиваль памяти Сергея Курехина» в Нью-Йорке состоялся в мае 1998 усилиями Дэвида Гросса. В октябре 1998 наконец-то прошел большой фестиваль во Дворце Молодежи в Питере.

Ну и, наверное, самая страшная часть, — смерть Курехина была очень странной. Сергей был необыкновенно здоровым человеком, имел просто атлетическое сложение и любил демонстрировать обнаженный торс на репетициях поп-механики. Умер от почти невозможной болезни: саркома сердца. Развитие болезни произошло стремительно. В ноябре он проходил полное онкологическое обследование и был признан здоровым, а в феврале уже задыхался... В середине восьмидесятых Сергей придумал такой трюк — он играл стремительный пассаж на рояле и ему как будто бы не хватало клавиатуры... Он падал из-за рояля (якобы плохо с сердцем). Мне помнится, как он просил меня и Африку убедить администратора Ленинградского Дома Композиторов в том, что у него бывают сердечные приступы, и что было бы здорово, если бы вызвали скорую помощь во время концерта или хотя бы растегнули рубашку, побрызгали водой и т.п. Исполнялась тогда программа «Новые Сексуальные Игры с Водой» (думаю, название было навеяно Хасселем и Каравайчуком). Получается, он, как Венедикт Ерофеев, как Белый, как многие другие в своем творчестве предвидел собственную смерть.

Цепь этих смертей не прекращается. Организатор первого фестиваля памяти Курехина Борис Райский по окончании фестиваля покончил с собой (февраль 1997). В октябре 1998 года покончила с собой дочь Курехина Лиза, которая была очень похожа на отца. В прошлом году в день смерти Курехина 9 июля умер его партнер по «Аквариуму» и «Поп-Механике 1» (и такому проекту, как квартет с Курехиным, Гребенщиковым и со мной) Александр Кондрашкин. Умерли некоторые музыканты, принимавшие участие в «Поп-механиках», но я не хочу вспоминать дат и деталей.

*(текст был написан в 2000 г. по просьбе
Денниса Иоффе для интернет-альманаха
<http://www.epistopology.com>)*

Приложение

О Новой Импровизационной музыке

Зачинателем и продолжающим концертровать в настоящее время музыкантом Новой Импровизационной Музыки является смоленский виолончелист и гитарист Владислав Макаров. Самое большое влияние на Влада Макарова оказала английская школа свободной импровизации, так называемая *Companu*: Дерек Бейли, Иван Паркер, Джон Стивенс. Дерек Бейли, теоретик школы, определял неидеоматическую импровизацию, как импровизацию, не опосредованную никакими существовавшими до сих пор музыкальными стилями, школами, практиками. Это как бы спонтанная речь на своем собственном особенном языке. Главный принцип такой музыки — отрицательная эстетика, состоящая из запретов: запрет на штампы, цитаты, аллюзии, запрет на мелодии, регулярности какого-то ни было рода — ритмические, мелодические, гармонические, интонационные. Спонтанность и нарочито высокая степень непредсказуемости. Это как бы речь афазика, некая глоссолоалия, радение, вещание на языках неведомых. Если музыка самого Дерека Бейли довольно однообразна и скорее иллюстрирует его собственные теоретические декларации, то другие английские музыканты, такие как Иван Паркер, Тревор Уотс, Гэвин Брайэр достигали при этом очень высокой степени энергетической насыщенности и экспрессивности. Для неподготовленного уха это было похоже на американский фри джаз и современную академическую музыку (до распространения минимализма!).

Следует отметить, что в СССР существовали и смежные

направления — это линия полистилистики в Новом Джазе, воплощенная в первую очередь композитором и пианистом Вячеславом Ганелиным и музыкантами его трио (ГТЧ — по первым буквам фамилий: Владимир Тарасов, Владимир Чекасин). Ганелин родился в Красково, в Подмосковье, но в детском возрасте с родителями переехал в Вильнюс, где и состоялся как академический композитор, автор сочинений для оркестра, театра муз. комедии и т.д. Приблизительно с 1969 года он пробует себя в джазе, первоначально в стиле Билла Эванса (кул джаз). В 1971 году он переманивает в Вильнюс архангельского барабанщика Владимира Тарасова, и они начинают выступать дуэтом, приблизительно в том же стиле. В середине 70-х к ним примыкает уральский саксофонист Владимир Чекасин. Музыка трио Ганелина воспринималась слушателями, как авангард, как радикальный прорыв. В то же время, основой музыки была полистилика, свободное оперирование любыми музыкальными стилями с высокой степенью импровизации, а за счет личной экспрессивности солиста — Владимира Чекапина — еще и энергетически невероятно насыщенной. Надо заметить, что, если для неподготовленного слушателя музыка ГТЧ казалась свободной импровизацией, то для более искусственного она была как бы современной академической музыкой, но не вялой, а энергетически обогащенной. Условно можно провести аналогии между ГТЧ и музыкой Альфреда Шнитке, также встречавшей тогда живейший отклик в сердцах слушателей. Все три музыканта ГТЧ работали от Литовской Филармонии — и этим как бы обходили ограничения, налагаемые на советских/российских музыкантов.

(Сергей Летов. Из статьи «Краткий очерк истории Новой Импровизационной Музыки в Советской России»)

О новом русском джазе

«Курехин уже тогда нащупывал методы особого воздействия на публику. Где-то в письме ко мне он писал, что хочет соединить Секс Пистолз с Чайковским. А год спустя, во время проведения очередной рискованной акции, он предложит мне играть сначала в духе Шенберга, а затем... цыганочку»

«...свободная импровизация как эстетика не признавалась не только официальным джазом, но и новоджазовыми музыкантами, фактически бывшими пост-боперами (Вапиров, Чекасин,

Резицкий). Неидеоматическая, так называемая свободная импровизация, была ими понимаема как деструктивная деятельность. Предмет понимали в силу своей интеллектуальности, возможно, только Сергей Курехин, Сергей Летов и Андрей Соловьев. Владимир Чекасин же использовал технику позднего Колтрейна исключительно в негативно-провокационных целях, чтобы затем вернуться к нормативной, т.е. правильной музыке, подаваемой им, однако, в издевательско-ироничном ключе, чаще китчевом. Отсюда его Ностальгии, Танго, Польки и т.д. Этот прием затем использовал Курехин и другие. Тогда как свободная импровизационная музыка только начиналась от позднего Колтрейна и раннего Орнетта Коулмена».

(Владислав Макаров. Из статьи «Атональный синдром нового русского джаза»)

Андрей Пустогоаров
Чекасин

Когда отцовский капитал
он по ветру пустил,
и смерти тень прошла сквозь зал,
ростку хватило сил.

Когда гармонии каюк
и хлам лежит у ног,
вдруг золотой взмывает звук
как из машины Бог...

Он проиграл, и потому,
все зная наперед,
сквозь карнавальный дым ему
судьба смотрела в рот.

(1984, впервые опубликовано в 1993 году в газете «Гуманитарный фонд»)

РАЗГОВОРЫ ОБ ИСКУССТВЕ

Дан МАРКОВИЧ
из сборника «КУКИСЫ»

чернильная душа...

Это суеверие витает над художниками: «возьми бумажку похуже, старенькую, драненькую да грязненькую... и, не придавая особого значения, начни карябать старым перышком, оно свое отслужило, но вдруг еще послужит...»

И не нужно нам вечной туши, черные чернила лучше. Послужишь палец, проведешь по листу — и оживет рисунок.

о свете и тьме...

О Сезанне. Суровый немногословный дядя. Но внутри вулкан. И задачи ставил огромные. Хочу картинку, как у Пуссена, говорит... Вернуть живописи монументальность. Старая живопись была построена на двух началах — свете и тьме. Импрессионисты выбросили тубик с черной краской, но им не по силам было выбросить из искусства ТЬМУ. Их картины красивы, легки, бесппроблемны — мимолетные наброски ощущений. Замечательно красивы. Но мучительная и глубокая старая живопись, с противоборством двух основных начал — осталась позади. Сезанн понял, пора оглянуться. И свою задачу выполнил. При этом сделал огромную вещь — из цвета получил свет.

Вот и «сухой» Сезанн. Он столько скрытой страсти вложил в свои лабораторные опыты, что они стали школой целого века художников.

МОНОТИПИЯ...

Дело это для самых начинающих — и самых искушенных, вот так.

Навозить на стеклышке разных пятен, можно акварельных, можно масляных — любых, потом прижать к стеклу лист бумаги... о, тут вариантов миллион — и сухой, и сырой, и тонкий, и гладкий, и шершавый... Получается один полноценный отпечаток и два-три кое-каких. Но есть люди, которые именно в этих

двух-трех слабых и неполных видят особое удовольствие. Иногда там прорисовываются черт знает какие красоты, да! И тут уж точно, начинается чистое искусство, эстетство, и не дышит в шею ни почва, ни судьба...

А потом бросил, мне все-таки хотелось больше управлять процессом, насколько это вообще возможно в живописи, графике...

где драма?..

Пикассо был всемогущим художником. И великим пижоном — любил удивлять. Но остановился перед абстракцией, хотя был куда мощней Кандинского.

«Где же тут драма?» — он как-то спросил, стоя у одной из абстрактных работ.

Не так уж важно, темно или светло, конкретно или абстрактно, а вот есть ли драма...

Ван Гог говорил, чем ему хуже, тем светлей картины.

Для Рембрандта драма была борьбой света и тьмы.

А как же Рубенс? Радость жизни так и бьет фонтаном.

Но быстро надоедают его тетки, набитые ветчиной.

один знакомый...

Я долго переписывался с одним человеком, который был умен, разумно скроен, но какое-то сомнение в нем все время копошилось. Уехал из России, жил в Израиле, потом в Париже... И всю жизнь крутился рядом с художниками, с одной целью — доказать, что нет ни искренности, ни страсти, ни чистого наслаждения цветом, а только самолюбие, расчет и жажда славы. И очень удачные приводил примеры, разве этого всего нет, разве мало? Но ему очень хотелось, чтобы это было — ВСЕ! — он успокоился бы.

В конце концов, он выдохся, и начал делать то, к чему был способен изначально — торговать углем со своей бывшей родиной, благо дешево продавали, и можно было у себя дорого продать...

Разбогател, купил дом и сдает его внаем, этим живет.

Удалось ли ему доказать себе, что НИЧЕГО НЕТ — не знаю, человек тайна. И зачем ему надо было? Мучило почему-то...

А я не верил, что он может всерьез так думать. Усмехался сначала, потом злился... Наверное, я был глупей его.

Мы ругались в письмах, а потом друг другу надоели.

не вернуться ли...

Как хорошо, что не маслом начал писать картинки. Если бы маслом, то мазал бы и мазал, удовольствия много, мучения никакого. А в начале полезно помучиться немного. И у меня такая возможность была — казеиново-масляная темпера. Подарили. Пока всю не истратил, о другой технике не помышлял.

Ох, эта темпера... Трудно смешивается, не размазывается, тут же впитывается в картон, исправлять тяжело... Приходится думать, что у тебя на кончике кисти, какой цвет...

Темпера задержала меня в начале, чтоб не слишком спешил, и это хорошо.

А потом понял, темпера не для меня. Начал смотреть на масло. Мощная техника, неумемная, страстная, много в ней звериного чувства... По уши влез...

А теперь думаю — не взять ли темперу...

одна и сто...

Искренность — форма бесстрашия. Бывают и другие формы, например, ярость неразумная, благородные порывы, самоотверженность... да мало ли... Искренность — форма бесстрашия, которая к искусству имеет самое близкое отношение. А вычурность формы, нарочитая сложность, высокопарность, грубость, словесный понос, заумь, выдаваемая за мудрость, ложная многозначительность — все это формы страха. Что скажут, как оценят, напечатают ли... в ногу ли со временем идешь или отстал безнадежно... Достаточно ли мудро... И еще сто причин.

Вопрос искренности центральный в искусстве, потому что без нее... Можешь дойти до высокого предела, но дальше ни-ни...

одна картинка...

Висела на первой выставке в Манеже, «АРТ-МИФ». Год забыл, давно. Я пришел посмотреть. Увидел, прошелся по огромному помещению (потом оно сгорело), вернулся, еще раз посмотрел... После этого я еще кое-что выставлял в Москве, но перелом в моем отношении к выставкам произошел на «Арт-Мифе».

Выставлять стал меньше, неохотно, а потом и вовсе перестал.

Как-то попытался объяснить, но убрал объяснения. Не по себе

стало, будто оправдываюсь. А мне не в чем оправдываться. Просто увидел тысячи картин, почти все говорили, или кричали — «смотри на меня, смотри», или «купи меня, купи!» или «вот я какая!» или «вот как надо!» А моя, и еще было несколько десятков таких — молчала. Она к зрителю не обращалась, замкнута в себе.

Зачем ей выставка?

Я понял, не надо ей здесь быть. Картины должны висеть по домам, у хороших людей. А если нет таких, то у художника в доме.

Пишешь для себя? Вот и пиши.

А потом появился Интернет, и мне там понравилось.

границы вкуса...

Вкус — свойство больше зрителя-читателя. Тот, кто рисует или пишет, этого не понимает. Вкус — во многом взгляд со стороны, сравнение разных точек зрения. Автор лишен вкуса. У него другое свойство должно быть — верность себе. Искренность и точность.

разасто...

Мне сказал один старый художник в Коктебеле:

— Федотов говорил — «рисуй раз за сто, будет все просто»

А я не понял, что за «разасто»...

Вспомнил через лет десять, и вдруг стало ясно!

какой еще смысл...

Напишешь картинку, и висит, а как называется... черт его знает. Говорят, теперь художники не только знают название, даже на самих картинах пишут словами, например — «Ужас» Или — «Угроза». А раньше писали — «Похоть», например. Роскошная голая девица распростерлась на траве. Или «Невинность»... Или «Неравный брак».

Миша Рогинский написал замечательную картинку, на ней обглоданные кости. Как назвать? Наверное, как есть — «Кости». Просто замечательные кости, мало обглоданные.

Некоторые зрители любят смысл в картинах, ищут его вдалеке от изображений, в умных книгах, например. Нарисовал художник обглоданную рыбу, тут же находится серьезный зритель — «рыба библейская» — говорит.

Последняя среда

Спасу никакого от этих, смысловиков... Зачем писать картины, если можно словами объяснить? Что нам названия дают? Вот, сидят, разговаривают — «Разговор», значит. Или еще, бывает — дама с собачкой... — «Прогулка».

смотрите быстро...

Смотрите картинку в полумраке, когда все кошки серы.

Смотрите всю сразу, то есть на отдалении, можно через перевернутый бинокль.

Смотрите быстро, мгновенно, для этого много способов, вот два из них.

Войдите в темную комнату, где на стуле или столе картинка, ощупью найдите свое место, встаньте на нужном для обозрения всей вещи расстоянии... Упритесь взглядом в то место, где картина — и мгновенно включайте свет! И тут же его гасите.

Стоите в темноте, перевариваете ощущение.

Можно еще проще: подойдите к картине с закрытыми глазами или пусть вас подведут, как Вяя... Мгновенно открываете глаза, и тут же закрываете! Потом, после переваривания увиденного, можете еще несколько раз вот так поморгать.

Отделите шутку от серьезности, и попробуйте.

Попытка получить первое ощущение.

Оно — важное.

среди своих...

То, что нарисовано, написано, влияет на автора необратимым образом.

Наверное, есть люди, легко перевоплощающиеся, умело натягивающие на себя ту или иную маску... но они мне мало интересны.

Картинка во многом подстерегание случая. Лучшее не задумывается заранее со всей тщательностью, а выскакивает из-за угла. Слово талант пустое, зато есть другое — восприимчивость, тонкая кожа.

А потом наваливается на тебя — вроде твое, но непонятным образом попавшее в картину.

И художник, артист, писатель... начинает крутиться в кругу образов, впечатлений, они толкают его дальше, или, наоборот,

Последняя среда

останавливают, задерживают... а хорошо это или плохо, может сказать только время. И то не всегда.

Мне писал один литературный человек, рассматривавший мои картинки — он от них идет к ранее прочитанным текстам. Для меня невероятно тяжелый путь, меня куда легче ведет к другим обманам зрения, чувственным переживаниям...

Недавно попался старенький рисунок — и вспомнил темную осень 1960-го, юг Эстонии, колхоз, куда нас студентов послали убирать картошку. Ожидание будущей жизни, выкарабкивание из страхов... Дерево, куст, забор, темнеющее небо...

немалые голландцы...

Люблю голландцев за их рисуночки, простые, естественные... Умелые, но не выпячивающие мастерство. Скучная природа. Довольно грязная жизнь, кабачки хлебосольные, питье, растегнутые штаны...

Люблю старые вещи братской любовью, оживляю, сочувствую, а фрачность парадных обеденных столов не терплю. Обожаю хлам, подтеки, лужи, брошенный столовый инвентарь с засохшими ошметками еды... и чтоб после обеда обязательно оставалось...

Чтобы пришел через окно голодный кот и не спеша вылизал тарелку.

осыпь при луне...

огда я начал рисовать, мой учитель, глядя на портрет, спросил:

— Вот это здесь — зачем?..

Это была щека. Я ответил:

— Это еще и каменная осыпь при луне.

Он кивнул — «зрительные ассоциации, вот главное...»

легенда о натюрмортах....

Писать натюрморты нервное занятие.

Каждый предмет или тело занимает в пространстве место, которое не может быть занято другим предметом или телом. Основной закон жизни, если хотите. Пока мы живы, наше место никто, ничто занять не может, когда умираем — прорастаем травой, землей... Напряжение между вещами, по мере вникания-вглядывания все нарастает... Где свобода? Только силовые поля,

Последняя среда

да связи вещей. И если даже лежат — раскидисто, стоят спокойно, валяжно... Все равно! — никогда не забывая о соседе... друге, враге — неважно: есть вещи поважней дружбы, вражды — отталкивание, притяжение... Вростание...

При видимом спокойствии все напряжено, проникнуто взаимным дружелюбием или отрицанием. Трагедия спички. Предательство карандаша. И нет ни капли — без-раз-личия. Живые вещи — натюрморт.

все равно хорошо...

Как говаривал Фаворский, когда после долгой работы заказ на иллюстрации срывался, книжка не выходила:

— Ничего, зато покомпоновали...

единомышленников ищет...

После выставки сосед спрашивает — «Ну, продал?»

Не верит, что продавать не хочу. Зачем тогда выставлять? Действительно, вопрос. Известный галерейщик не понимает тоже — выставка для известности художника — раз, для коммерческого успеха — два. И вдруг — не нужно.

Человек из КГБ понимал это по-своему, но ближе, гораздо ближе к истине — «ищет своих...»

умники, понимаешь...

Мне говорил учитель живописи:

— Пробуя еду, сразу знаешь, вкусно или нет. Так и цвет...

Художник берет «вкусный» цвет, в этом его ум проявляется.

А книжник умный... ищет на картинке библейскую рыбу или мальчика в кустах...

не упираться...

Как сказал мне один старый художник — «ты не зырь, не упираться зенками, не ешь глазами — ходи себе, да посматривай, поглядывай...»

у мастера...

Как-то я приехал со своими работами к учителю, а он был дома один, писал акварель, пейзаж. Обычно он работал в мастерской.

Когда я приезжал к нему с десятками работ, он смотрел и обсуждал только мои картинки и рисунки, и никогда не показывал свои. Он не на своем примере меня учил, а из общих представлений о живописи. Это позволило мне находиться рядом, слушать его точную немногословность много лет. Я был уже не молодой и, хотя начинающий, но упрям. А он — мастер, тонкий, камерный, не выносил громкости, напора... Но был удивительно терпелив со мной.

А тут я увидел — он только начал, и сразу попал. Точно взятый цвет, от него тянущее, тоскливое в груди чувство, будто зацепило нерв.

А потом как обычно. Обсуждали...

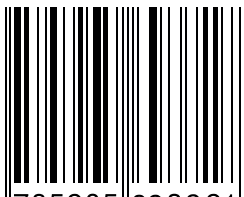
Журнал «Последняя среда»
2 выпуск

Главный редактор А. Пустогаров
Корректор И. Георгиева
Обложка О. Глухарева
Верстка И. Георгиева

Свидетельство о государственной регистрации
ОГРН 309774627800931
Издательство «Э.РА»
Формат 60 x 84/16
16 уч. изд. л.
Тираж 100 экз.
Москва
2013

тел. издательства в Москве:
+7-962-704-68-73
тел. в Израиле:
+7-972-52-203-70-88

ISBN 978590569399-1



9 785905 693991

Наши адреса в интернете:
Сайт издательства Э.РА: www.era-izdat.ru
Как издать книгу: <http://era.gufo.ru>
Книжный магазин: <http://knizh.gufo.ru>
Почта: era-izdat@mail.ru